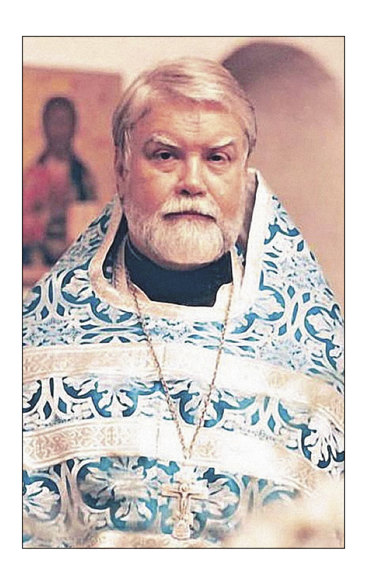
Священник Ярослав Шипов / *Три рыбы от святителя Николая*

90 лет



ШИПОВ Ярослав Алексеевич

родился в 1947 году в Москве. Родители – журналисты, фронтовики. В 1974 окончил Литературный институт им. А.М.Горького (семинар Сергея Залыгина). В 1981 опубликовал первую книгу рассказов «Путешествие на линию фронта» (премия Горького). В 1983 принят в Союз писателей СССР.

Работал в редакции современной прозы издательства «Современник». Активно печатался в журналах «Наш современник», «Москва», «Подъем», «Литературная учёба», «Русский дом». Возглавлял «Клуб рассказчиков» при Центральном доме литераторов.

В 1991 в Вологодской епархии был рукоположен в сан священника и четыре года прослужил в Тарногском районе сельским батюшкой. С 1995 отец Ярослав служит в Москве на Патриаршем подворье храмов в Зарядье.

Автор двух словарей: «Православный энциклопедический словарь» (1998) и «Православный словарь» (2000). Автор книг: «Шёл третий день» (1984), «Западная окраина» (1986), «Уездный чудотворец» (1990), «Отказываться не вправе. Рассказы из жизни современного прихода» (2000), «Долгота дней» (2002), «Лесная пустынь» (2009), «Райские хутора» (2012), «Первая молитва» (2013) и др.

Фестиваль прессы на Поклонной горе

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

В оформлении использована
картина
В. Г. Перова
«Рыбная ловля»

Подписаться на журнал «Роман-газета» можно в отделениях связи и через Интернет: www.gazety.ru

Подписные индексы издания:
в каталоге агентства ***«Роспечать»***
70782 *на полугодие,*
71752 *на год;*
в объединенном каталоге ***«Пресса России»***
38915 *на полугодие;*
в электронном каталоге ***«Почта России»***
П1526 *на полугодие*

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

2017 №19 /1791/ Основана в 1927 г.

Священник Ярослав ШИПОВ

Три рыбы от святителя Николая

Рассказы разных лет

ОТВАЖНЫЕ

Теплым майским утром дядя Коля вышел во двор поиграть на гармошке. Такие выходы у него иногда случались. Был он в старой солдатской гимнастерке с медалью «За отвагу», старых галифе и на сей раз почему-то без всякой обуви. Впрочем, солнце уже нагрело асфальт, и дяде Коле было не холодно. Он наяривал свои любимые песни, да все малоизвестные — не из тех, что звучали по радио, а дивизионные, полковые, а то и вовсе — батальонного масштаба.

Мы с приятелем катались по двору на трехколесных велосипедах и слушали дядю Колю, который был достопримечательностью нашего дома. Взрослых, особенно женщин, восхищала история его женитьбы. Дядя Коля всю войну прослужил шофером и в Берлине, остановившись на каком-то перекрестке, влюбился в регулировщицу. Тут же из кабины грузовика предложил ей руку и сердце, но девушка лишь отмахнулась, дескать, вас таких тыща за день, а предложения будут рассматриваться после войны. Потом, когда дядя Коля возвращался домой, эшелон остановился на каком-то полустаночке рядом с санитарным поездом. Доблестный боец пошел с чайником за водой и встретил свою регулировщицу: вместо правой кисти у нее была перебинтованная культя — вероятно, зацепило осколком. Дядя Коля повторил предложение — девушка заплакала. Тогда он перехватил ее свободной рукой за талию поперек туловища и с барышней под мышкой пришел к своему вагону. Там барышню приняли, усадили за стол.

— Знакомьтесь, — говорит дядя Коля, — это моя жена... Как тебя зовут?

— Татьяна... Таня... Но все мои документы в санпоезде...

— Это мы решим, — заявил дядя Коля.

Сходил к медикам, отвоевал документы. Потом привез тетю Таню в Москву и сыграл свадьбу. Эта романтическая история и превратила его в местную достопримечательность.

Жили они тихо и почти незаметно: дядя Коля работал шофером грузовика, тетя Таня опекала дом и сынишку, который был младше меня и потому интереса для совместных игр не представлял.

Не знаю, за что дядя Коля получил «Отвагу», — фронтовики не любили рассказывать о войне, но склонность к лихим поступкам в нем определенно присутствовала.

Мы это знали, и потому теперь, когда ему наскучило наше общество и он пошел через арку в переулок, мы на своих велосипедах поехали за ним. Выйдя на середину проезжей части, дядя Коля запел громче прежнего и пустился в пляс. Поскольку нам запрещалось уходить со двора, мы наблюдали из подворотни. И тут произошло событие, подобного которому я никогда больше не видывал и благодаря которому дядя Коля накрепко запечатлелся в моей памяти.

К поющей и пляшущей достопримечательности приблизился автомобиль «Победа». Машин тогда было не много, а в нашем переулке они вообще появлялись редко. Водитель посигналил, требуя освободить дорогу. Ничего не добившись, остановился. И тут дядя Коля, не переставая играть, ступил на бампер, затем на крыло, на капот и наконец на крышу, где и продолжил пляску с притоптыванием: тогдашние машины легко могли выдержать подобное обхождение. Автомобиль не двигался, чтобы не сбросить танцора. Потом дверца открылась, и вышел водитель — в кителе, с погонами майора.

— Сейчас дяде Коле достанется! — сказал приятель.

Но офицер с любопытством взирал на происходящее и молчал. Зато женщина, сидевшая на переднем сиденье, что-то визгливо кричала ему.

— Фифочка, — заключил мой приятель.

А майор вдруг тоже начал притоптывать. Дядя Коля, добившись такого успеха, спрыгнул на асфальт, и у них завязался обычный для фронтовиков разговор о том, кто где воевал.

Среди орденских планок майора мы заметили особо ценившуюся нами ленточку «За взятие Кенигсберга» — похожую на георгиевскую, но не оранжевую, а ярко-зеленую и тоже с тремя черными полосочками.

Женщина вышла из машины, хлопнула дверью и, раздраженно стуча каблуками, направилась в сторону метро. Майор даже не глянул ей вслед: вероятно, дама, которую он провожал майским утром, была не особенно дорога ему.

— Мымра, — сказал приятель.

А фронтовики сдружились и не хотели расставаться. Но тут подъехала еще одна «Победа», майору пришлось вернуться за руль, чтобы освободить переулок, и дядя Коля, сыграв на прощание вальс «Дунайские волны», ушел домой.

После войны он проработал шофером лет тридцать, потом стал терять зрение, и медкомиссия лишила его водительских прав. У сына была уже своя семья, и он, судя по всему, помочь родителям не мог. Тогда тетя Таня выучилась печатать на машинке одной рукой и работала с почти профессиональной скоростью. И если до сей поры она одной левой управлялась с хозяйством: пеленала ребенка, мыла полы, стирала, готовила, то теперь домоводство перешло к дяде Коле. А тетя Таня все той же левой зарабатывала на жизнь.

Кстати говоря, у нее тоже была медаль «За отвагу».

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ»

Когда в квартире начался ремонт, меня отправили к двоюродной тетке. Она снимала дачу километрах в пятидесяти от Москвы. Заурядный домишко этот некогда принадлежал известному живописцу, останки которого мирно покоились под резным деревянным крестом здесь же, неподалеку от дома. Тетка беспрестанно занималась шитьем — подрабатывала на старом «Зингере», детишек поблизости не водилось, и я целыми днями, прерываясь разве что на кормежку, околачивался у крыльца. Компанию мне составлял кот: пушистый, рыже-бело-серый, прозванием Лютик. Больших размеров, но при этом столь незначительного возраста, что приятельствовал со мною на равных, а я тогда и в школу еще не ходил. Мы напропалую играли в достойные игры вроде веревочки с привязанным фунтиком, а по вечерам, сидя на террасе, слушали музыку: хозяева оставили патефон с пластинками. Там были, конечно, «Рио-Рита», «Брызги шампанского», «Темная ночь», «Огонек», а еще — классические романсы, один из которых по причине загадочности своей сделался для меня неотвязным.

— Почему «солнце скрылось под водой»? — спрашивал я у тетки.

— Ну, так бывает на море, — отвечала она.

— А «ветер мчится к матери своей»?

— И что?

— Кто у ветра мама?

В общем, светлая душа Аполлон Майков запутал меня. Но главная загадочность происходила оттого, что пластинка была поцарапана, и вместо окончания романса звучало «фюить». А испортил ее мой приятель, прыгнувший на патефон, когда в нем звучала музыка. Правда, событие это совершилось месяца два назад: Лютик, как говорила тетушка, был в те времена еще совсем бестолковым. Я спрашивал у нее, что там — в конце пластинки, а она вспоминала-вспоминала и никак не могла вспомнить. Когда я со своими вопросами надоел, тетушка сказала:

— Видишь забор за полянкой? Это дача знаменитой певицы Большого театра. Сейчас у нее гостят подруги — тоже знаменитые и тоже певицы. Ты сходи к воротам, покарауль — может, выйдут прогуляться, тогда и спросишь. Кажется, одна из подружек на несчастной пластинке и поет. Да приготовь букет — артисток полагается благодарить с цветочками.

Сходили мы с Лютиком на поле, нарвали васильков, потом пришли к даче певицы и устроились напротив глухих ворот. Долго сидели. Иногда доносились до нас звуки рояля, а то и пение, но обрывочное — отдельными фразами, которые повторялись на разный лад — то так, то эдак.

— Тренируются, — объяснил я Лютику.

Сидим, сидим, а прогуляться никто не выходит. Но мы терпим, ждем. Лютику, правда, наскучило, он стал охотиться за бабочками, стрекозами.

— Только, — прошу, — ящерок не трогай, пожалуйста.

Как будто не трогает — пытается крылатых настичь и уже до значительной высоты допрыгался. И тут случилось происшествие: откуда-то примчалась собака. Я бросился защищать Лютика, но Лютик опередил меня и в прыжке нанес ей удар по носу. Собака с визгом кинулась прочь, кот — за нею, но вскоре вернулся.

— Ну, ты даешь! — только и мог вымолвить я.

Впрочем, тетка рассказывала, что он сызмальства отличался храбростью и однажды прогнал лису. Причем лиса тоже убегала с визгом. Вероятно, кот от рождения обладал хорошо поставленным, точным ударом.

Сидим и сидим. Дело к вечеру, скоро ужинать позовут. Вдруг ворота раскрываются, и выезжает автомобиль ЗИМ. Я сразу вскочил. А машина подъехала к нам и остановилась.

— Мальчик! Ты что тут делаешь? — спросила через открытое окошко пожилая женщина. Требовательный тон выдавал в ней владелицу знатной усадьбы.

— Жду.

— Чего или кого ты ждешь?

— Певиц, — говорю.

В машине рассмеялись. Я сбивчиво пересказал историю пластинки, но про Лютика, конечно, не упомянул.

— А что за романс? — спросила женщина.

— «Спи, дитя мое, спи-усни, спи-усни».

Мужчина, сидевший рядом с шофером, определил:

— «Колыбельная» Чайковского, Рахманинов любил играть, — и напел.

— Так? — уточнила женщина. Я кивнул.

— Маш, — сказала она, — это вроде бы твой репертуар, подскажи молодому человеку.

Ее соседка стала наскоро проговаривать текст, чтобы дойти до уничтоженной Лютиком концовки, но в машине зашумели, требуя, чтобы она непременно спела — похоже, ЗИМ был по крышу забит выдающимися солистками. Дверца распахнулась, женщина, которую называли Машей, вышла и, став передо мной, негромко запела... Потом все аплодировали. Я тоже.

— Запомнишь? — ласково спросила она.

Я взялся напряженно повторять: «Али звезды воевал? Али волны все гонял?»... И остановился. Тогда она снова спела: «Не гонял я волн морских, звезд не трогал золотых, — я дитя оберегал, колыбелочку качал!». Ну, теперь запомнишь?

— Спасибо! — поблагодарил я.

И лишь когда ЗИМ тронулся, меня осенило, что артистку полагается благодарить с цветочками. Схватив лежавший на траве букет, бросился за машиной, Лютик не отставал.

Нас увидели, ЗИМ остановился. Добежав, я протянул васильки в окошко.

— Ну, Маш, — расхохотались певицы, — таких букетов тебе еще никто не дарил.

Машина тронулась, обдав нас пылью. Лютик даже чихнул.

Мы скорее домой, чтобы, покуда помнится, тетка записала слова, произнесенные ветром: «Я дитя оберегал, колыбелочку качал».

В воскресенье приехали родители, чтобы забрать меня в Москву. Лютик, осознав грядущую разлуку, не отходил от меня, а я с трудом удерживал слезы. Взрослые сжалились: посадили кота в старую сумку, закрыли молнию, оставив небольшое отверстие, чтоб дышал, и к вечеру мы добрались домой. Послушали наши пластинки — тоже хорошие, однако «Колыбельной» среди них не было.

— Потерпим, — сказал я Лютику, — отец обещал купить: новехонькую, без царапин. С той же певицей — ну, которой мы цветочки дарили.

ВАСИЛЬ ПЕТРОВ

Пяти лет от роду был я замыкающим в последнем отряде, однако общего распорядка не нарушал: ложился и вставал по сигналу горниста, по сигналу ходил в столовую. А вот на утреннюю линейку меня не брали, и во время общего построения сидел я в песочнице. Игрушки тогда были редкостью, так что экскаватором служил совочек, а машинами — обрезки вагонки, которой перед нашим приездом обшили отрядные корпуса.

Иногда нас выводили за ворота, на луговину, где старшие играли в футбол и еще в какие-то игры, а я по малолетству все так же занимался своим совочком.

И вот в один из таких выходов явился к нам человек, которого сразу облепили и ребята, и вожатые. Все наперебой что-то весело кричали ему, а он в ответ хохотал — громко, раскатисто, то и дело запрокидывая голову. Вдруг он заметил меня и спрашивает:

— А этот чей?

Вожатые назвали.

— Так это Алешин младшенький? А как меня зовут, знаешь?

— Знаю. — Я почувствовал, что догадываюсь.

— Ну и как?

— Будь здоров, Василь Петров, — отвечал я вполне серьезно.

Тут он расхохотался пуще прежнего и долго не мог успокоиться. А отвечал я так потому, что слышал от отца и его приятелей тост: «Будь здоров, Василь Петров». Этот «Василь Петров», или Василий Петрович, был генералом, начальником, которого — редкий случай — любили все подчиненные. И вот теперь он стоял передо мной, запрокинув голову, и от безудержного хохота содрогался всем своим огромным телом. Но, несмотря на то что прежде мне не доводилось сталкиваться с подобным прояв-

лением чувств, внимание мое было приковано к другому: Василь Петров был в охотничьих сапогах, в шляпе с птичьим пером, с патронташем на животе, и, главное, за плечом у него висело ружье. Надо сказать, что дело происходило в Лобне. Сейчас там городские кварталы, а в начале пятидесятых годов можно было охотиться. Вот Василий Петрович и возвращался с охоты — вероятно, неудачной — на свою дачу, которая располагалась неподалеку от лагеря. Заметив, что взгляд мой намертво приковался к латунным гильзам, торчащим из патронташа, он в мгновение замолчал, внимательно посмотрел на меня. Потом снял с плеча ружье, зарядил его, опустился рядом со мной на одно колено. Вложив приклад себе в плечо, поднял стволы к небу и сказал: «Стреляй!» Я бросил совочек, отряхнул ладони от земли, потом вытер их о штаны и выстрелил. Нас окутало облако дыма — в те времена патроны снаряжались дымным порохом. Когда облако рассеялось, Василь Петров спросил:

— Ну как?

— Громко, — говорю.

И тут он опять расхохотался:

— Конечно, громко!.. Сразу из двух стволов саданул!.. Дуплетом!.. Я ему на два выстрела зарядил!.. А он — дуплетом!..

Потом хлопнул меня по плечу, так что я едва устоял на ногах, и закончил торжественно:

— Будешь охотником! Сколько, говоришь, тебе годов?

— Пять.

— Через тринадцать лет приходи ко мне: примем тебя в охотничье общество, купим ружье — я сам выберу, наилучшее, и отправимся с тобой на охоту. Не сюда, конечно, а в какие-нибудь далекие, дикие места. По рукам?

— По рукам.

Вот так мы договорились.

Однако через тринадцать лет его уже не было. Я пришел к другому человеку, потом купил не самое лучшее ружьецо, а в дикие, далекие места всю жизнь ездил один...

ПАПАНИН

Маршрут этот именовали «кругосветкой»: по Оке до Нижнего Новгорода, который носил тогда имя писателя Горького, а потом вверх по Волге возвращаться в Москву. Каждое утро, после завтрака, я шел в салон, где стояло новенькое чешское пианино, и в течение шестидесяти минут боролся с его неразработанной, невероятно жесткой клавиатурой: в семь лет мне полагалось ежедневно играть по целому часу. Отец садился рядом и командовал:

— Гамма ре минор — три минуты... Гамма соль мажор — три минуты... Этюд — десять минут...

Потом у меня появился слушатель: Иван Дмитриевич Папанин в полосатой пижаме — тогда эта одежда считалась вполне приличной на отдыхе. Все пассажиры знали, что Папанин путешествует с нами, однако он почти не появлялся на людях — даже еду ему носили из ресторана в каюту. А тут вдруг стал посещать беспомощные детские занятия музыкой.

Отец, проявляя непонятную мне деликатность, при появлении адмирала выходил из салона на палубу, и команды я теперь получал знаками через стекло.

Обернувшись однажды из любопытства, я увидел, что Папанин плачет: он сидел на диване, опустив голову и закрыв ладонью глаза, а щеки были мокры от слез. Признаться, я испугался, недоумевая, что могло так сильно огорчить этого героического человека. Но тут отец строго пригрозил мне из-за окна, и наступило время очередного этюда. Отец не играл ни на одном инструменте и не владел нотной грамотой, однако музыку любил безгранично и классику знал весьма обстоятельно.

Я поведал ему о том, что видел в салоне, и спросил: «Почему?» Сначала он отшутился, мол, это от проникновенного исполнения гамм, аккордов и арпеджио. Но я не отставал. И тогда отец попросил меня свыкнуться с мыслью, что не на все вопросы нам даются ответы.

Потом, когда мы уже повернули к Москве, Папанин поинтересовался, а откуда я-то его знаю.

— У меня марка есть, — говорю.

Тогда почти все мальчишки собирали почтовые марки, и у меня была знаменитая марка с папанинцами.

Вечером он постучал к нам в каюту. Отец открыл дверь, пригласил зайти, но он поблагодарил и отказался. Вручил мне свою фотографию с теплой надписью на обороте, пожелал спокойной ночи и ушел.

Рано утром отец разбудил меня: пароход наш стоял покачиваясь, стало быть, не у пристани, а на судовом ходу. С мостика доносились какие-то команды. Мы быстро оделись, вышли на палубу. Подвалил катер вполне военной наружности, пришвартовался, перебросили трап, и на трап ступил Иван Дмитриевич Папанин — в адмиральском мундире, при двух своих Звездах Героя. С борта катера он помахал нам рукой и скрылся в рубке. Пароход на прощание дал гудок, катер отчалил и направился к видимому вдалеке берегу. Там, как объяснил мне отец, находился институт, которым и руководил мой легендарный слушатель.

А фотокарточку я храню. Фотокарточку с теплой надписью на обороте. Как напоминание о том, что не на все вопросы нам даются ответы.

ТРУДОДЕНЬ

Было мне тогда, наверное, лет двенадцать. Неожиданно меня взял в напарники самый знатный рыбо-

лов нашей деревни. Начать с того, что он много лет провел на дипломатическом поприще за границей и вооружился превосходнейшими снастями, каких у нас в ту пору нельзя было увидеть даже во сне. А еще он умел подобрать насадку, меняя червяка на хлебный мякиш или на тесто, в которое добавлял то анисовое масло, то губную помаду с кондитерским запахом. Рыбачили мы под мостом, где глубина достигала десяти метров, что, безусловно, нравилось лещам. Ловили с лодки, подвязывая ее к обрезкам арматуры, торчащей из железобетонных опор. В мои обязанности входила заготовка червей и работа с подсачком при вываживании крупной рыбы. Промысел складывался удачно, и каждый день мы кого-нибудь угощали.

Занятие наше, начинавшееся глубокой ночью, неукоснительно останавливалось в семь утра, когда к мосту приближался речной трамвайчик. Надо было собрать все снасти, оттолкнуть лодку от бетонной опоры и удерживать ее так, пока не утихнут волны, поднятые суденышком.

Действия эти мы отработали до совершенства: дипломат упирался ногой, я — веслом. Но однажды совершенство нам изменило: может, оттолкнулись мы слишком сильно, а может, волна превзошла обычную высоту... Точно одно: напарник мой не удержался и упал в воду. Так, весьма решительным образом, нормальное течение дня сменилось чередой нежданных событий.

Забраться в лодку не получалось даже с моей слабой помощью: одежда намокла, и он никак не мог заползти на борт. Пришлось мне буксировать его, но не к нашей деревне, до которой было порядка двух километров, а к соседней, располагавшейся за мостом.

Добрались. Выйдя на берег, он судорожно посбрасывал с себя куртку, рубашку, ботинки, брюки... Остался в голубых шелковых трусах, широкополой соломенной шляпе и, дрожа от холода, засеменил босиком к ближайшей избушке, над которой так притягательно вился печной дымок. Я — следом. Миновав сени, он деликатно постучал в дверь — ответа не было, постучал снова, чуть громче — никто не отозвался. Тогда он приоткрыл дверь и, стоя в проеме, сделал официальное заявление:

— Я дипломат, работал консулом...

Где он работал консулом, я не услышал: чугунок с вареной картошкой, словно из пращи, вылетел в нашу сторону из ухвата — хорошо, что дипломат успел затворить дверь. Мы постояли молча, потом он говорит:

— Может, вы попробуете?

Я догадывался, что прилетевший к нам чугунок не один в печке, но отступать было некуда.

— Теть! — закричал я. — Мы дачники! Из Булавина! Дяденька с лодки упал — промок весь!

— Дачники? — переспросила она, открывая дверь. — Тогда заходите. Дайте, я только картошку соберу — поросенку варила.

— Доброе утро! — поздоровался дипломат, одной рукой снимая широкополую шляпу, другой — прикрывая пройму на голубых трусах. И торопливо зашлепал к печке.

Хозяйка выдала ему женский халат, потом спустилась вместе со мной к реке, чтобы забрать намокшую одежонку. А я взял свой простенький спиннинг, саморучно сделанный из можжевельника, и пошел вдоль берега, забрасывая похожую на окунька блесну. Называлась она «Отличная». Бросил несколько раз и поймал первую в жизни щуку.

Положил ее на траву, метрах, наверное, в десяти от берега, чтобы не убежала обратно. А сам засуетился: кидаю и кидаю блесну — может, еще возьмет. Вдруг вижу: моей рыбины нет. Я — вдоль берега: туда, сюда — нет. Поднимаю глаза — а щука на взгорке, большой черный кот пытается утащить ее. Отвоевал я добычу: хвост был слегка погрызен, а все остальное — в сохранности.

Солнышко стало пригревать, я понял, что рыбалка закончилась, и пошел домой. Дипломата не стал тревожить, полагая, что он вполне мог задремать, пока его одежда сохнет на печке.

Когда я предъявил рыбу отцу, он искренне изумился. А потом озадачил:

— Ты же собирался теребить лён. Сегодня начали...

Да, собирался. Я так полюбил этот лён в пору цветения, что хозяйка обещала взять меня с собой, когда наступит время уборки. Однако мы с консулом поднимались рано, еще до того, как бригадир, ездивший на телеге, постучит в окно рукоятью кнута. И ведь с вечера не было никаких разговоров про лен, а за ночь все перевернулось. Может, конечно, агроном приезжал: тот гоняет на стареньком мотоцикле по деревням, дает всякие распоряжения...

Я бросился через огород в поле. Нашел нашу хозяйку, она показала, что надобно делать, и оставила меня. Впрочем, оказываясь неподалеку, каждый раз поправляла мои снопы, говоря: «Ладошки малы — неухватисты. А так — ничего, справляешься». Обедали мы на бригадирской телеге: женщины угощали друг дружку молоком, хлебом. И меня накормили. А потом опять: правой рукой выдергиваешь, в левую — кладешь...

Домой вернулся без сил. Хозяйка сказала, что заработал я один трудодень. Позвала в кладовку, где у нее стоял мешок с пшеном, и говорит: «Возьми сколько сможешь». Зачерпнув ладонями зерно, спрашиваю:

— Это и есть трудодень?

— В наилучшем виде.

— А что с ним делать?

— Ну, иди покорми Пеструшку.

Пеструшка эта была некогда сбита грузовиком, но не насмерть, хотя растрепало ее обстоятельно. После таких событий курицу ожидала безоговорочная лапша, однако мне удалось защитить Пеструш-

ку, а потом и вылечить. Я прибинтовывал поврежденное крыло, мазью, взятой для моих царапин и ссадин, смазывал ободранные лапы. Наверняка делалось все это не лучшим и не самым правильным образом, но Пеструшка выздоровела и стала отличать меня от всех прочих людей. Старалась, например, лично мне сообщить, что снесла яичко, и показывала, где оно.

Я вышел во двор, позвал Пеструшку, и она, бросив куриное стадо, прибежала.

— Вот, — говорю, — я тебе трудодень заработал, — и протягиваю ладони.

Пеструшка угостилась. Тут остальные куры подоспели и скорехонько расклевали пшено. За ужином, когда мы ели приготовленные отцом щучьи котлеты, хозяйка сказала:

— С рыбалкой у тебя получается куда лучше, чем с земледелием. Так что, сынок, лови рыбу, а сельское хозяйство оставь другим.

Ей тогда выписали целых одиннадцать трудодней.

АНТИЛЕНА

Как я теперь понимаю, звалась она от рождения Кантиленой. С чего вдруг (или — не вдруг) родители сподобились так серьезно употребить это латинское слово — неведомо. Можно, разумеется, предположить, что они любили музыку и мечтали о вокальном будущем дочери, но в этом случае их решение следовало бы признать ошибкой, и притом роковой. Ведь нелепо надеяться на то, что девочка с именем Канцона, Кантилена или Капелла станет певицей, наоборот: назвать её так — значит навсегда отречься от надежды на благозвучный голос.

Отчего это бывает — трудно сказать, но Венеры, вырастая, превращаются в женщин с далеко не классическими пропорциями, Гелии совершенно не хотят заниматься изучением инертных газов, и ни один из Гераклов не дотянул до юношеского разряда по штанге. Так что голос у Кантилены был неприятный на редкость — скрипяще-гнусавый, словно связки воспалены, а нос заложен.

Может быть, родители новорожденной вовсе и не любили музыку и не мечтали о певческих перспективах для своей дочери, может, просто им понравилось это действительно красивое слово, они и нарекли дочь Кантиленой.

Буква «К» из обиходного обращения выпала, и оттого, вероятно, что латинское название напевной мелодии в то, послевоенное, время едва ли кому в нашем доме было знакомо, тогда как слов с греческой приставкой «анти» всяк человек знал достаточно.

Антилена была невысокой, крепкой, коротконогой женщиной неопределенного возраста. Носила очки с толстенными, круглыми стеклами. Но и за стеклами глаза ее были всегда сощурены — это уж не от близорукости, а, смею теперь утверждать, от чрезвычайно пристального внимания к окружающему.

Работала она в каком-то сельскохозяйственном учреждении и, как говорили соседи, «делала диссертацию». Что это такое, никто из соседей, пожалуй, не представлял, оттого слова «диссертация» и «аспирантура» в течение долгих лет произносились шёпотом. Никакой диссертации, помнится, Антилена так и не защитила.

Жила она в нашем двухэтажном доме на втором этаже и занимала небольшую комнату в коммунальной квартире. Соседи ее отчего-то часто менялись и каких-либо воспоминаний о себе не оставили.

Первая моя встреча с Антиленой произошла, когда я еще не ходил в школу. Как-то вечером мы с приятелем жгли в кустах спички. Вдруг над нами раздалось: «Прекратить!» Мы прекратили. «Встать!» Мы испуганно встали. «Затоптать!» Выполнили. Сощурившись, она долго смотрела на нас сквозь толстенные стекла очков, потом встревоженно прохрипела: «Сегодня — коробок, завтра — дом подожжёте!» Больше всего мы боялись, что расскажет родителям, но в тот раз обошлось.

И надо же было такому случиться: на другой день мы чуть не спалили дом — раскочегарили костёр прямо на чердаке и в точности над комнатой Антилены — вот несчастье! Она прибежала с ведром, залила пламя: «Ну?! Что я говорила?!» Потом вывела нас во двор и, поставив перед толпой любопытствующих, гнусаво изрекла: «Государственные преступники! Бандиты!»

Впоследствии она несколько раз «накрывала» нас на помойке, где мы по просьбе девчонок добывали цветные стеклышки для «секретов» — загадочной девчачьей игры, вызывавшей у нас тупое недоумение: надо же было собрать горсть блескучей дребедени, чтобы потом закопать этот «секрет» под деревом.

Поймав кого-нибудь за ухо, Антилена пророчески изрекала:

— Это кончится тифом, холерой или чумой, понятно?

— Понятно, понятно, — орал попавшийся, — только отпустите, пожалуйста!

— Нет, непонятно! — холодно заключала она и щурилась пуще обычного. — Смотри мне в глаза... Тебе непонятно, я вижу. Где ты живёшь?..

— Тётенька, отпустите!

Остальные — непопавшиеся — стояли в почтительном отдалении, тоскливо следили за экзекуцией, а временами посматривали по сторонам, рассчитывая путь отступления на случай, если бы Антилена вдруг, бросив жертву, попыталась прихватить своими цепкими пальцами кого-то другого.

Дворничиха тётя Катя ворчала:

— Неугомонная, суетная, везде лезет, до всего дело есть, как будто Бог без неё не управится...

Однажды я спросил у дворничихи, кто такой Бог? Тётя Катя ответила:

— Он всё видит, всё знает, от Него не спрячешься.

— Даже под столом? — удивился я.

— Даже под столом!..

Я запомнил.

Следующим поприщем «неугомонной» стала проезжая часть. Мужская школа располагалась «через дорогу», и Антилена частенько ловила учеников, пытавшихся перебежать Хорошевское шоссе в неположенном месте.

— Вам что — под колёса не терпится? — Преграждая путь, она указывала рукой в сторону недавно установленного столба с жёлтой жестяной стрелкой, на которой чёрными буквами было написано: «Переход».

В ту пору, надо сказать, детей под колесами оказывалось несоразмерно много, несоразмерно с малочисленностью машин. Оттого, вероятно, что лихие мальчишки норовили промчаться перед самым капотом — это считалось особым шиком. И едва ли не каждый месяц траурная процессия сопровождала на Ваганьково очередного ученика, погибшего под колёсами «эмки», полуторки или трехтонки. Затем, когда школы — мужские и женские — объединили, мы стали ходить в бывшую женскую, находившуюся на нашей стороне улицы, и наездов стало значительно меньше.

Казалось, что теперь у Антилены забот должно поубавиться, но нет: взрослея, мы схлопатывали от неё то за курение, то за карты, то за излишне тесное — по её мнению — общение с одноклассницами в подъездах.

Её холодные жёсткие обвинения — устные и письменные — поступали и в школу, и нашим родителям, и даже в милицию. Каких только приговоров не выпадало: отцовские ремни, материнские слёзы, визиты участкового, четвёрки по поведению, комсомольские собрания с оргвыводами. Как мы выдюжили, как никто не стал разбойником — не понимаю: ведь по неуравновешенности своего возраста мы — назло Антилене — могли совершить что-нибудь эдакое... выдающееся. Но не случилось.

Шло время. Опека надо мной и моими сверстниками стала смягчаться — Антилена не то сдала, не то переключилась на следующие поколения. Постепенно связанные с ней горести начали забываться и, казалось бы, забылись совсем.

Как-то летним вечером — я тогда оканчивал институт — ко мне зашёл участковый и попросил выступить понятым «при акте, — так сказал он, — описи имущества». С ним были еще двое: техник-смотритель и дворничиха, которую теперь называли уже не тётей, а бабой Катей.

Поднялись на второй этаж, бессчётная новая соседка впустила в квартиру. Техник-смотритель взломал Антиленину дверь, и мы вошли. Я догадывался, что с хозяйкой, по всей видимости, что-то произошло, но ни дворничиха, ни участковый не потрудились ввести меня в курс дела. Момент для прояснения ситуации выкроить никак не удавалось: все сосредоточенно и деловито выполняли впервые виденную мною работу. Даже дворничиха была задействована: определяла на глаз стоимость каких-то вещей. А я растерянно стоял возле двери, ожидая, не понадоблюсь ли для чего. Наконец, когда баба Катя проходила мимо, я спросил, в чём дело?

— Погибла Антиленочка наша, — вздохнула она, — пожалеть её надо: и жила горемычно, и...

— Катерина! — перебил участковый. — Тебя пригласили не для того, чтобы ты языком болтала. Сядь на диван и сиди.

— Хорошо. Я конечно, — и села.

Стена у двери была сплошь завешана мелко исписанными тетрадными листками в клеточку. На одном оказался «Список лекарств, необходимых в домашней аптечке», на другом — «Распорядок дня», из которого я уяснил, что просыпалась хозяйка ровно в пять и двадцать минут тратила на «личные нужды». Третий листок содержал «Перечень расходов строго обязательных» на «мыло хоз.», «мыло туал.», «зуб. порошок», а также на «автоб.» и на «трам.».

Были листки с перечнем «коммунал. расходов» и «расх. на питание», были списки «строго обязательного белья навел.». Когда мероприятие завершилось, дворничиха сбивчиво и торопливо сообщила мне подробности гибели Антилены:

— Стояла на тротуаре у перехода. Никаких машин не было вообще, а она ждала, когда машинам красный зажжётся. Дождалась: загорелся красный. Тут как раз грузовик к переходу подъехал, тормознул, а после дождя было: его занесло, он — в светофор. Светофор — ну, столб-то железный — грохнулся и ей — по голове...

Так оборвалась жизнь Антилены. Нелепо оборвалась.

— Надо бы помолиться о ней, — сказала дворничиха, — но, наверное, некрещёная: имя какое-то... политическое. Хотя красивое: Антилена. Тебе нравится?

Я кивнул.

СНЕГОПАД

Д. С.

Мы стояли на трамвайной остановке у сквера. Падал снег. Я знал, что этот невысокий человек в очках с толстенными стеклами большой поэт, но стихами его в те времена не интересовался. Впрочем, одно, самое знаменитое стихотворение о войне, в памяти держал.

Волею очень давних, фронтовых, обстоятельств он был дружен с родителями дорогой моему сердцу

девушки. И много лет прожил в доме, где жили они. Потом переехал. А сейчас мы стояли перед окнами того самого дома и смотрели, как падает снег. Хлопья мягко ложились на ветви старых деревьев, на узоры чугунной ограды, на рельсы, на асфальт, на головы и плечи прохожих.

— Когда-то давно, — он помолчал, вспоминая, — когда-то давно этот прекрасный снег я уже видел. И самое странное, что видел здесь же — на площади Борьбы.

Подошел трамвай. Поэт не захотел садиться.

— Знаете что, — предложил он вдруг, — идемтека лучше пешком — нам ведь недалеко. Жалко оставлять такой снегопад.

Прошли Палиху, потом Лесную. Терзаемый наивными размышлениями о литературе, я, старшеклассник, задавал ему вопросы, которые должны были показаться нелепыми, однако он отвечал. И вот, когда я глубокомысленно изрек, что стихи писать труднее, чем прозу, он покачал головой и сказал неожиданное:

— Поэзия зарегулирована, она зажата рифмой и ритмом. А проза — свободна, в ней — безграничный простор. Если стихотворение, даже самое гениальное, положить на музыку, — выйдет всего лишь одна мелодия, ну, может, с некоторыми вариациями. А в прозе — столько мелодики, столько интонационного разнообразия. Вон Петр Ильич в «Пиковой даме» переложил на музыку несколько страниц пушкинской прозы — потрясающее богатство мелодий! Так что у прозы можно многому поучиться. Я, между прочим, так и делаю: учусь писать у русской прозы — честное слово.

А когда в метро расставались, он сказал, что поминок не любит еще с войны и что бывшие соседи его за этот год сильно сдали — особенно мать.

ОБМЕН

Пришло повеление освободить школьный подвал от хлама.

Пятнадцать лет, с войны, туда никто не лазал, а Юркина мать, как назначили её завхозом, залезла. Повытаскивали сотню ржавых кроватей, оставшихся от госпиталя, и в самой дальней глубине обнаружился вдруг мотоцикл.

БМВ. Новёхонький. Трофейный.

Кровати сдали в металлолом, а мотоцикл остался на попечении Юркиной матери — у Юрки то есть. Хотел Юрка узаконить нечаянное приобретение, однако выяснилось, что это никак невозможно: у мотоцикла не было документов. По этой же самой причине, наверное, его и похоронили в подвале. Хотел продать — все отказывались. Предлагал даже чемпиону мира по мотокроссу — жил в нашем дворе такой человек, но и тот отмахнулся. Хотя денег Юрка просил немного: чтобы хватило на «сапоги» — хоккейные коньки с высокими, жёсткими ботинками. Дело в том, что мы всю зиму напропалую рубились в хоккей, а настоящие «сапоги» были недоступною редкостью — мы знали только один магазин, в котором продавались такие коньки. Одного размера и очень дорого. А в обычные ботинки приходилось для твёрдости подкладывать с двух сторон картонки, которые за время игры стёсывали кожу до косточек. Помню, переодеваюсь как-то после игры: снял окровавленные носки, мать увидела и кричит отцу:

— У него кость белая!

— Аристократ, наверное, — отозвался отец, не заходя в комнату.

Но и на «сапоги» мотоцикла этого не хватило. Загнали его в Юркин подъезд — без горючего, без аккумулятора, и снова покинули. Знал о нём весь «Городок» — так называлась наша автобусная остановка, и никому не было до него дела.

Простоял мотоцикл целый год, а потом Юрка обменял его на трофейную скрипку. Звонит как-то вечером:

— Приходи, поиграем.

Оказалось, БМВ забрали киношники для съёмок военного фильма, а взамен предложили реквизит только что отснятой музыкальной комедии. Помогла Юркина мать — у неё на студии был какой-то приятель.

Доколе мы не выучились правильно вести смычок, извлекаемые звуки были бесчеловечны.

— Дорогой инструмент, старинный, — оценил Юрка. — А вдруг это Страдивари?

— Нет, — говорю, — звучание не то. Скорее Амати или Гварнери.

Через некоторое время скрипач сумел подобрать частушечный мотив, а я подыграл ему на пианино. Мы уж было решили, что настала пора взяться за «Крейцерову» сонату, но Юрка спохватился:

— Там, наверное, и другие струны понадобятся?.. Нет уж: буду играть на одной, как Паганини.

Уходя, заметил я в коридоре ржавый чугунный шар со ржавой цепью.

— Легкоатлетический молот — в придачу дали, — объяснил Юрка, — хочешь — возьми.

Я взял.

Несколько дней кидал, швырял. Потом думаю, надо у грамотных людей спросить насчёт метательной техники. Юрка согласился.

— Тем более, — говорит, — что мы даже не знаем никаких нормативов: ты, может, тут рекорд Европы побил, а у тебя и разряда нету.

Стали думать, с кем посоветоваться.

В двухэтажных домишках наших, теснившихся между Хорошёвкой и Центральным аэродромом, было на удивление много спортсменов. Знатных, великих, выдающихся... Тут и велосипедист — призёр Олимпиады, и вратарь сборной страны по водному

поло, и упоминавшийся мотоциклист, и два знаменитых фигуриста, живших в одном дворе, и лыжник — мастер спорта, и мастер спорта футболист. Но легкоатлета не нашлось, и потому метательные достижения мои сокрылись в безвестности.

Вскоре Юрке исполнилось восемнадцать и он сменял инструмент на охотничье ружьё, приложив ржавый чугунный шар в придачу.

— Выгодный обмен, — сообщил он. — Ружьё прокормить может, а от скрипки — никакой пользы.

Пошли на охоту. Где-то в подмосковном лесу сидели у ствола старой ёлки, прячась от моросящего дождя, и ждали рябчика. Юрка единожды побывал на охоте со своим отцом и теперь рассказывал мне о манерах боровой дичи, временами посвистывая в манок. Рябчик поначалу отзывался, а потом затих.

— Бывает, они садятся прямо над охотником, — поучал Юрка.

Я глянул вверх: совсем рядом на обломке сучка сидела пёстрая птица и, наклонив голову, слушала нашу беседу.

— Это он? — спрашиваю.

Юрка вскочил, замешкался с предохранителем, а рябчик: ф-р-р-р-р, — и скрылся. Оказывается, надо было слушать не только его отклики на манок, но и «ф-р-р-р-р» — шум крыльев при перелёте с дерева на дерево. Тогда бы мы не прозевали его приближение. Всё это я узнал лишь через два года, когда мне тоже исполнилось восемнадцать, и я тоже обзавёлся ружьём. Но поохотиться вместе нам уже не случилось — Юрка сменял ружьё на ударную установку: большой барабан, три маленьких барабанчика на подставке и тарелки.

— Очень выгодный обмен, — сказал он. — Можно зашибать хорошие деньги. А ружьё — что? Одни расходы! За патроны — плати, за дорогу — плати, а добычи — нисколько...

Теперь мы превратились в полноценный дуэт: клавишник и ударник. Этого было достаточно, чтобы провести танцевальный вечер в любом учреждении ближайшей округи.

Под Новый год нас пригласили в «Красную Звезду». Мы играли всё, что просил народ — сидевшие за столиками офицеры и офицерские жёны: от «Землянки» до «Уральской рябинушки». После каждой песни нас призывали сойти со сцены и принять хоть несколько грамм «фронтовых».

В какой-то момент я почувствовал, что пора уходить. Ушёл и благополучно добрался до родимой кровати. А Юрка, который решил задержаться, был доставлен домой двумя подполковниками, а двое других принесли барабаны с тарелками.

Юркин отец — тоже подполковник — был ошарашен эскортом. Он сказал, что за долгую армейскую жизнь ни разу не удостоился такой чести:

— На фронте после ранения меня сопровождал в госпиталь всего лишь сержант, а тут...

И предложил провести рекогносцировку кухни с привязкой на местности к холодильнику. Офицерам, конечно, надо было возвращаться на передовую, однако короткий привал сочли необходимым. И пока Юркина мать занималась своим артистом, фронтовики вели на кухне только им понятный разговор.

Со временем жизнь раскидала нас в разные стороны, и много лет я ничего о Юрке не слышал. Однако совсем недавно долетела до меня весточка, что русский паспорт он сменял на прибалтийский, а тот в свою очередь на заокеанский.

Хорошо помню Юркиного отца: его глаза всегда были красными — от напряжения и усталости: он служил в ПВО, у экрана радара, охраняя Москву.

ПРЕМИЯ

От Сретенских ворот до Хорошевского шоссе путь неблизкий — шагай да шагай через ночь.

На Рождественском бульваре Сашку догоняет поливалка: он прижимается к стене дома, чтобы не окатило водой, но машина сбавляет ход, а потом и вовсе останавливается. Дотянувшись до правой двери, водитель открывает ее и, почти лежа на сиденье, спрашивает:

— Далеко?

— Далеко, — машет рукою Сашка.

— Залезай, до Пушкинской могу довезти, — и, когда Сашка садится, объясняет: — Мне там разворачиваться в обратную сторону.

Машина трогается, вода бьет по асфальту и, ударяясь в бордюр, взмывает кверху. На бульварах ни машин, ни пешеходов — ночь...

— Провожал? — спрашивает водитель — человек немолодой и, похоже, приветливый.

— Провожал.

— Поцеловать-то позволила?

— Позволила, — улыбается Сашка.

— Дело хорошее, — признает водитель. — Ну а так... еще чего-нибудь перепало?

— Да нет вроде бы...

— Совсем ничего?.. Ну хоть по мелочи — приобнять там... и все такое...

— По мелочи перепало... чуть-чуть.

— Уже неплохо, — оценивает водитель и вздыхает.

На Пушкинской они расстаются. Но Сашка недолго бредет пешком: его подбирает продуктовый автофургон. За лобовым стеклом портрет Гагарина, недавно слетавшего в космос.

— Ты ходил встречать Гагарина? — спрашивает водитель.

— Ходил, — отвечает Сашка.

— Здорово было!

— Здорово! — соглашается Сашка.

Доезжают до Белорусского. Дальше — по шпалам в сторону «Беговой».

Несколько окон депо освещены, над ними вывеска «Столовая».

Сашка вспоминает, что голоден и что у него сохранился рубль монеткой. Вечером он водил Аленку в кафе, заказал два бокала шампанского, два мороженых и два кофе — на все, как и предполагалось, ушло три рубля, а четвертый — резервный — остался.

Он жалеет, что вспомнил про денежку поздно, ведь за рубль можно было доехать от Белорусского на такси, а теперь — далеко ушел, не возвращаться же.

В столовой почти никого нет, лишь у окна сидят двое в форме железнодорожников: старый и молодой. Сашка подходит к кассе и протягивает монету:

— Чего-нибудь...

Ему дают тарелку пельменей, компот и сорок копеек сдачи:

— Первого пока нет: щи кончились, борщ еще не сварился. Если не хватит — подойдешь, я тебе на сорок копеек пельменей добавлю.

Сашка ест и все пытается сообразить: хватит ему или не хватит, но мысли разлетаются и никак не удается сосредоточиться.

— Семеныч, — обращается кассирша к старшему, — гляди, как у парнишки глаза горят.

— Молодой, — отвечает железнодорожник, — вот и горят.

— Помощник твой тоже молодой, а не горят.

— Когда премию получаем, и у него горят.

— А у этого не от премии — я разбираюсь. Ты со свидания, что ли? — обращается она к Сашке.

Сашка молча кивает и поднимается — боится, что сейчас начнут спрашивать про поцелуи и все прочее.

— А это и есть самая лучшая премия, — смеется старший. — Тебе, парень, куда?

— На Хорошевку.

— Можем добросить до «Беговой», но отправление, — посмотрел на часы, — минут через тридцать.

— Спасибо, я за это время дойду.

На Хорошевском шоссе ни машин, ни пешеходов — ночь... Пролетел с воем тяжелый панелевоз первого автокомбината — откуда-то издалека домой возвращается, и снова тишина.

Сашка осторожненько отпирает дверь, бесшумно входит, и тут же у матери в комнате зажигается свет — она не спит. И начинается: «шляешься по ночам», «наверное, выпил», «еда в холодильнике».

— Я премию получил, — говорит Сашка.

— Какую еще премию? Где ты мог ее получить?

— У Сретенских ворот, мам, у Сретенских. — Он падает на кровать и мгновенно засыпает крепким сном счастливого человека.

МИХЕЙ

Первый самолет доставил меня в большой северный город, второй — в старинное село на берегу широкой реки, третий должен был улететь в таежную глушь, но разгулялся шквалистый ветер, и небо закрыли. Местные жители, предполагавшие отправляться кто — в большой северный город, кто — со мною в деревню, разошлись по домам, остались только два дядьки да я. Мы поднялись на второй этаж бревенчатого сарая, который служил и аэровокзалом, и гостиницей с десятиместным номером, разместились на кроватях и стали ждать достойной погоды. Две пары пилотов устроились против нас и завели негромкий разговор о начальстве, жалованье, запчастях... Дядьки, лежавшие рядом со мной, обсуждали что-то электротехническое — они обеспечили село телефонной связью и теперь возвращались в Москву.

Свет не зажигали, и, когда стемнело за окнами, у нас тоже стало темно. Пилоты переговаривались все реже и реже, дядьки было совсем затихли, пожелав друг другу спокойной ночи, но потом между ними возник разговор, который меня не только заинтересовал, но и встревожил.

Тот, что лежал на соседней койке, задумчиво произнес вполголоса:

— Странное дело эта охота: человек пролетел полторы тысячи километров на двух самолетах, да ему еще на третьем лететь... Спрашивается: ради чего?..

Похоже, он полагал, что все уснули, — вопрос его обращен был словно к самому себе. Однако второй дядька сонно пробормотал:

— Пуще неволи...

— А зачем? Ты понимаешь?

Тот вздохнул, освобождаясь от дремоты, и сказал, что не может объяснить, а вот его старший брат понимает, поскольку отец у них был охотником и старший брат свидетельствовал эту страсть. А младший не застал — отец рано умер. И рассказал, что у старшего на работе появился парнишка, который в восемнадцать лет купил ружье и, как только наступает охотничий сезон, увольняется: отпуск-то ему еще не положен. А по возвращении брат снова принимает его. Без всяких вопросов: охотник, и этого достаточно. Из уважения к отцовской привязанности, хоть сам нисколько ей не подвержен. Сейчас парнишка снова ушел с работы и отправился куда-то на Север, чуть ли не в эти края.

Тут вспыхнула ревность: вдруг неизвестный ровесник опередил меня и занял прекрасные утиные плесы, о которых мне рассказывали студенты-геологи? Но по размышлении признал, что места в тайге нам хватит, а с земляком будет даже повеселее. Разговор завершился, и все уснули.

Утром, когда погода исправилась и нас по громкой связи стали вызывать к самолетам, я услыхал

знакомую фамилию, отчество и понял, что один из ночных собеседников был братом директора моей типографии, а значит, таинственным парнишкой-охотником оказывался я сам... Тысячи километров тайги раскинулись передо мною, и застоявшийся Ан-2 лихо рванул с земляной полосы сельского аэродрома.

Приземлились на луговине. Летевшие со мной пассажиры знали, куда им следует направляться, и сразу ушли, а я остался перед начальником аэропорта — человеком в куртке-канадке и форменной фуражке «Аэрофлота». Надо заметить, что разобранное ружье было в рюкзаке и зачехленные стволы лишь ненамного высовывались сбоку от клапана.

— Турист? — поинтересовался начальник.

— Нет, — говорю.

— Геолог?

Опять: «Нет».

— Журналист?

Я отрицательно помотал головой.

— Что — охотник?

— Охотник.

— Так бы и сказал! — воскликнул он, распахнув руки, словно для объятья.

Я молчал, ожидая, что последует за этим излиянием чувств.

— Тебе надо к Михею, — с ходу определил начальник аэропорта.

Я согласно кивнул.

— Далеко? — спрашиваю.

— Семьдесят пять километров — дня за три дойдешь.

— Дня за три, — прикинул я, — может, и дойду. А куда идти-то?

Оказалось — просто: через деревню, а дальше левым берегом реки, никуда не сворачивая. Хотя куда тут можно было свернуть, я даже впоследствии, прожив на реке месяц, так и не понял — тайга непролазная. Мы попрощались, и я пошел. К Михею. За семьдесят пять километров. Меня в этом предприятии ничто не смущало, и вот почему. В те далекие времена был чрезвычайно распространен самодеятельный туризм: пеший, байдарочный. Мои старшие братья отдавали хождению по стране все свободное время — и меня привадили, так что еще в отрочестве я приобрел опыт таежных походов. Однако ружье заставило разлучиться с пожирателями километров — сезоны не совпадают, да и содержимое рюкзаков различается: туристы берут все, что может понадобиться, а охотники только то, без чего нельзя обойтись. Сейчас у меня не было даже палатки: вместо нее — кусок полиэтилена. Если к стволу старой ели привязать на небольшой высоте веревку, другой конец которой крепится к соседнему дереву, накрыть веревку пленкой, чтобы образовалась двускатная крыша, приткнуть пленку сучками к земле, напихать под кровлю побольше лапника — можно будет переночевать даже в сильный дождь. Особенно благодатно, когда нижние ветви дерева образуют шатер.

Прошел я деревню, во дворе у последней избы мужик мастерит лодку. Увидел меня и спрашивает:

— Куда направляешься?

— К Михею.

Он отложил топор:

— Погоди малость, надо ему сметанки свезти. Да и хлебушка не мешало...

Мужик оказался родственником неведомого Михея, и время пути моего вместо трех суток пешего хода заняло на моторке всего семь часов.

В охотничьей избе прожил я до холодов. По ночам ловили рыбу: хариусов, сигов, налимов и щук. Днем я старался добыть дичь для пропитания, а Михей настраивал капканы и ловушки: он был промысловиком — зимой охотился на пушного зверя. Если не везло с дичью, жарили рыбью икру: положишь на горячую сковородку — она сразу белеет, перевернешь на другой бок — через минуту готова.

Шли дожди, и Михей частенько ругал израненную на войне руку, которая отказывалась работать: побранит, побранит — глядишь, она и послушается.

Мы с ним задружили... Такой уж народ фронтовики — люди цельные, великодушные — не задружить невозможно. Я их застал еще множество и тем счастлив.

Когда начался ледостав, меня подобрал рыбак, спускавшийся с верховьев реки. Михей выкатил бочку соленой рыбы — мой заработок. Я совершенно не представлял, каким образом везти ее на трех самолетах, и решительно отказался. Тут к Михею присоединился рыбак, и они стали доказывать мне, что забрать трудовую долю — мой беспрекословный долг. И если я откажусь, их представления о добре, справедливости и смысле жизни вообще могут разрушиться. А таежники эти, следует указать, были старообрядцами, то есть порядок ценили неописуемо. Сторговались на двух ведрах — это я хотя бы мог унести в руках. Однако носить не довелось.

Рыбак приволок эмалированные посудины на аэродром, переговорил с начальником, тот пошептался с пилотами, и, когда прилетели в старинное село, пилоты перегрузили ведра на другой самолет.

То же случилось и в большом северном городе. А в Шереметьеве рабочий на электрокаре довез мою долю до стоянки такси. Вот какой благодати сподобился я по просьбе Михея: охотник просил — и этого оказалось достаточно. Вообще-то он Клим. Климент. Михей — от фамилии, для своих.

Мы долго переписывались, я посылал ему рыболовные снасти, он мне зимою — замороженных глухарей. Потом я стал ездить в другие края, и переписка угасла. А теперь... Да что теперь? Прошла целая жизнь с того дня, как мы отпраздновали его сорокалетие.

Но вот что интересно: начальник аэропорта при первой нашей встрече даже не полюбопытствовал, откуда я: охотник, и всё, этого было достаточно.

НЕЧТО НЕПОПРАВИМОЕ

Б.Б.

Год был холерный. Актриса заболела. График съемок пришлось изменить. Отправили телеграммы актерам, находившимся в отпусках. Одно послание почта вернула: «Такого адреса нет». Режиссер сказал: «Без этого человека фильм не состоится. Надо искать». Работали мы в Латвии, а искать предполагалось в Литве. Литовские актеры, участвовавшие в съемках, тоже признали адрес явной нелепостью, однако вспомнили, что нужный нам человек отдыхает, как правило, где-то под Каунасом. На уединенном хуторе. Возле озера. Сверх этого земляки ничего не знали. Режиссер спрашивает меня:

— Найдешь?

Это он вовсе не от избытка доверия, а по причине моей малоценности: я был рабочим в съемочной группе, и без меня советский кинематограф вполне мог обойтись.

— Попробую.

— Сколько надобно денег?

— Пятьдесят рублей.

Он сказал, что этого недостаточно, и дал шестьдесят — минимальная по тем временам зарплата. Так платили и мне на съемках.

До Каунаса я добрался легко. На автостанции увидел схему здешних маршрутов — там было нарисовано озеро, но автобусы к нему не ходили, сворачивали куда-то в сторону. Взял билет до этого поворота, протянул кассирше телеграмму с неправильным адресом — она лишь пожала плечами.

Доехали до небольшого селеньица, вышел я на главной площади — куда теперь? Пустынно, и спросить не у кого... Из открытых дверей костела доносилась органная музыка: звучал Бах. Причем инвенцию эту я когда-то играл в музыкальной школе. Но недоставало одной нотки — фа диеза. Заглянул в костел: над входом балкончик, а там, судя по всему, инструмент. Вскоре меня обнаружили, и музыка прекратилась.

Исполнитель встал — это был парнишка моего возраста. Он произнес что-то по-литовски. Не понимая, я развел руками.

— Вам — что? — Музыкант перешел на русский.

— А где фа диез? — спрашиваю.

— Нет фа диеза, — и вздыхает.

— Без фа диеза нехорошо.

— Плохо, — соглашается он, — может, вместе посмотрим?

Я поднялся по узкой лесенке. В компании мы оказались смелее и разобрали фисгармонию, насколько возможно: один из клапанов был зажат иссохшейся мышкой.

— Похоже, — говорю, — костел ваш не сильно богат.

— Да уж куда там...

И рассказал, что учится в консерватории, приехал к родителям на каникулы, заодно хотел подработать, но платят мало. Я в ответ — про себя: где учусь, куда устроился на все лето, сколько платят. Заодно показал злосчастную телеграмму. Парень и говорит:

— Надо спросить у ксендза — он тут все знает, — и ушел.

А я уселся за инструмент, накачал педалями воздух, взял аккорд и замер от восхищения — настолько богат и объемен был звук. Просмотрел ноты — репертуар органиста, разобрал с листа пару несложных вещей, а потом стал играть все, что взбредало в голову. К полной моей неожиданности, особенно впечатляло органное звучание русских песен: скажем, из «Тонкой рябины» получался настоящий хорал. Музыкант принес добрую весть: слово, которым в телеграмме обозначался район, являлось названием конезавода в двадцати километрах отсюда. Слова, именовавшие почтовое отделение и хутор, оставались пока загадкой.

На прощание он сказал:

— Ксендз живет рядом, окошки открыты...

Я ему:

— Извини, друг!

— Да нормально всё, не волнуйся. Старику очень понравилась одна песня. Говорит, с детства ее любит. Он вообще-то питерский, из русских литовцев. Не наиграешь? Там что-то про столетнее дерево, а какое — забыл...

Стал я перебирать известные мне деревья, пытаясь найти столетнее, и в конце концов оно отыскалось:

— «Липа вековая»?

— Точно! Играй!

Липа, надо сказать, звучала не менее грандиозно, чем рябина. Органист повторил за мной мелодию этой старинной песни, и мы расстались.

Конезавод пришлось искать на попутных. Сначала это был мотороллер, потом — мотоцикл, за ним — колесный трактор конезавода и в конце пути — велосипед, на раме которого мальчишка доставил меня через сосновый бор к потаенному хутору. Я уже знал, что вместо почтового отделения в наш адрес была вписана речка, зато хутор именовался правильно — но кто ж знает его за пределами ближайшей округи?

Жилые и хозяйственные постройки, соединенные черным от времени дощатым забором, образовывали квадрат. Толкнув калитку, я оказался на просторном дворе. Прикинул, где тут вход в жилье, и постучался. Ответа не было. Вошел в дом, спросил:

— Есть кто?

— Да-да, — услышал я хриплый, простуженный голос.

Так началось знакомство с человеком, без которого наш фильм не мог состояться. Тут же он через распахнутое окошко представил меня своей жене: она собирала грибы в тридцати метрах от дома. По-

том накопали червей, я получил удочки, лодку и выехал на середину обширного озера, чтобы в совершенно прозрачной воде наловить рыбы. Ужин получился богатым: хозяйка нажарила и подосиновиков, и окуней.

Спросил я про загадочный адрес. Они долго не могли ничего понять, однако сошлись вот на чем: режиссеру попала записка, оставленная приятелю-актеру, который собирался заехать сюда на машине. И в качестве ориентиров были упомянуты конезавод и речка.

— Оказалось, что дело это вполне поправимое, — приветливо сказала жена.

— Как, впрочем, всё и всегда, — заключил супруг.

— Нет, — возразила она неожиданно строго, — не всегда: а лишь до тех пор, пока о нас кто-то молится.

С командировкой моей все сложилось удачно, а десять рублей я сберег и возвратил режиссеру. Зимой театр, в котором служил этот актер, был в Москве на гастролях. Мы встретились после спектакля, вспомнили подосиновики, окуней, телеграмму. «Я ведь оставлял им почтовый адрес! Но в кино всегда что-нибудь да напутают, — смеялся он, — впрочем, как говорит моя жена: “дело это вполне поправимое”».

«Пока о нас кто-то молится», — добавляла она.

Через несколько лет я узнал, что молиться о нем теперь никто не сможет.

ПУСТАЯ КОМАНДИРОВКА

В конце шестидесятых годов прошлого века мне довелось некоторое время служить в рекламном агентстве «Аэрофлота». «Аэрофлот» был тогда единственной нашей авиакомпанией, дела его шли прекрасно, и новые линии открывались одна за другой. Я писал по этим достойным поводам бесхитростные рекламные тексты, художники размещали их на стандартных картинках, после чего макет направлялся в редакции газет и журналов. А ещё в мои обязанности входила организация пресс-конференций: следовало созвать репортеров и приготовить им «слонов» — памятные гостинцы. Иногда на таких встречах можно было пожать руку Ильюшину, Туполеву, Яковлеву или, скажем, дважды Герою Коккинаки — великие люди водились тогда на нашей многострадальной земле в изобилии.

Командировки в рекламном агентстве перепадали редко и, как правило, не дальше московских аэропортов. Раз только пришлось слетать километров за двести, да и то, как мне представлялось тогда, впустую — работа ограничилась сочинением подписи под фотографией.

Командировка эта забылась на долгие десятилетия, но потом стала изредка вспоминаться. Вспоминалась, вспоминалась, и дошло до того, что я заподозрил в ней проблески некоего содержания, не замеченного, а может, и не существовавшего прежде. Надо признать, что дело изначально выглядело многообещающим: испытывалось оборудование для десантирования пожарных. На рассвете вертолёт подобрал меня и фотокорреспондента в аэропорту Шереметьево, а уже через час мы приземлились на опушке старого леса в безлюдной глуши.

Главное устройство представляло собой большую рулетку с прочной лентой внутри. Рулетка висела на груди у пожарного. Когда вертолёт останавливался над выбранным местом, пожарный закреплял конец ленты в салоне машины и шагал в открытую дверь. Скорость снижения регулировалась тормозным рычажком вплоть до полного замирания, что могло спасительно выручить при десантировании сквозь ветви деревьев.

Для большего правдоподобия зажгли дымовые шашки. Пожарные, один за другим, мужественно прыгали в едкий дым и, продираясь меж еловыми сучьями, опускались на землю. Фотокорреспондент отснял всё и с земли, и с воздуха, и на этом событие исчерпалось. Можно было возвращаться домой. Полетели.

Двое пилотов, трое десантников, конструктор приспособлений и мы с фотокором. Спрашиваю испытателей:

— А настоящий лесной пожар вы сейчас потушить смогли бы?

— Небольшой, — отвечают, — можно: топоры и лопаты есть, так что небольшой — запросто.

— Давайте, — говорю, — потушим. А я, как вернемся, сразу же в «Комсомольскую правду» информашку передам: мол, группа испытателей потушила лесной пожар...

Они посмотрели в иллюминаторы, но не заинтересовались ничем, хотя дымы кое-где и плыли:

— Дачники мусор жгут... А вы попросите первого пилота — дядю Сашу: он отыщет...

Дядя Саша нашёл.

— Ну это ещё более-менее, — согласились пожарные, глядя на пелену, стелившуюся под нами, — годится.

Но сначала требовалось поговорить с лесником. Сели в ближайшей деревне у избы с большой цифрой 9 на крыше. Цифрами в те времена отмечалось жильё лесников, чтобы лётчики-наблюдатели, патрулировавшие угодья, в случае обнаружения огня, знали, куда сбросить вымпел с координатами.

Разговор длился недолго. Выяснилось, что это экспериментальная делянка, на которой учёные люди исследуют способы тушения горящих торфяников.

— Коллеги, — объяснил нам дядя Саша, — диссертации пишут.

Стало ясно, что информашка для «Правды» не состоится. Летим дальше.

Меня с фотокором подбросили поближе к месту работы — на Вертолётную станцию Центрального аэродрома — маршрутные вертолёты в те времена возили народ с Ленинградки во все московские аэропорты.

Фотограф побежал в свою лабораторию, а я пристал с расспросами к дяде Саше: «Пионерская правда» давно просила небольшой материал о мужестве.

— Были, — говорю, — какие-то особо опасные случаи?

Он думал-думал.

— Вроде не было ничего, — пожал плечами. — Ты лучше у Андрюшки — у второго пилота спроси: он летает полтора года — столько всяких историй знает!

— А приходилось на войне сажать простреленный самолёт?

Он снова задумался:

— Простреленный?

— Да, с дырками от пуль, осколков.

— Ну, это всё время...

— Как «всё время»?

— Ну, часто.

— А говорите: «Не было ничего»!

— Ну, это ж дело обыкновенное: работа такая, — причём получалось у него в одно слово: «работтакая».

— А из подбитого самолёта с парашютом прыгали?

— Не. Старался до аэродрома дотянуть: работтакая. Ты уж не огорчайся, мил человек, но я даже не знаю, что тебе порассказывать.

— Можно про масло? — спросил Андрюшка.

— Ну, это смешное, а ему подвиг нужен.

Я уже соглашался и на смешное.

— Как-то в воздушном бою повредили двигатель: масло — давай хлестать на капот, с капота поползло на кабину. Ничего не вижу, а открыть нельзя — оно ж горячее, лицо обожжёшь... Вот смеху-то было!

— И как вы?

— Долетел... посадил — работтакая. Механик столько ветоши извёл, прежде чем выпустить меня из кабины.

Я понял, что даже крохотного материальчика для «Пионерской правды» не будет.

— Смотрите! — воскликнул второй пилот, указывая в сторону алюминиевого ангара.

Там у спортивного Як-18 стоял человек в маршальской форме. Это был наш министр — Евгений Фёдорович Логинов, а на «яке» он по временам летал. Кстати говоря, летал и перед самой нашей командировкой, когда американского посла пригласили осмотреть сверхзвуковой «Ту-144». Посол прибыл в аэропорт на автомобиле, подъехал к лайнеру, поприветствовал встречающих и спрашивает: а где господин министр?

— А вот он, — говорят.

Тут подруливает только что приземлившийся «Як-18», а в нём — Евгений Фёдорович.

— Здоров мужик, — уважительно оценил Андрюшка его габариты.

— Бомбардировщик, — пояснил дядя Саша, — там всегда были ребята крепкие: поворочай-ка штурвалом такого дрына.

— Вы с ним на фронте не пересекались? — спросил я с надеждой.

— Может, и пересекались: мы ведь частенько сопровождали бомбардировщики, особенно в сорок четвёртом, сорок пятом — тогда уже много бомбили. Но кто их пилотировал — не знаю. Мы вообще с ними на земле не встречались: их аэродромы — в тылу, наши — у линии фронта, так что — только в воздухе.

Маршал медленно обходил самолёт, трогая винт, поглаживая крылья.

— Прощается, — тихо сказал дядя Саша.

Я было предположил, что маршал хочет заменить «Як-18» на что-то новенькое, но дядя Саша отрицательно помотал головой:

— Нет, братцы: он больше не полетит...

Вертолёт отправился на свою подмосковную базу, я — в агентство. Мимо голубенького деревянного домика, в котором, по слухам, некогда был кабинет Василия Сталина.

Так завершилась командировка.

А министр действительно больше не полетел: вскоре его не стало.

И вот думаю: есть ведь у этой истории какое-то содержание? А может, и нет. Может, я ошибаюсь.

ДЯДЯ ВАСЯ

Был у меня дядя Вася. Не родственник, а старый приятель моего отца.

Отца давно нет, но приезжает вдруг дядя Вася и говорит: «Таисья пропала». Таисья — его жена. Стало быть, тетя Тая. Сколько-то времени уходит у меня на то, чтобы постигнуть суть происшедшего, — не видел я дядю Васю много лет, не видел, не слышал, и вдруг... Да и почему ко мне? У него сын есть, внуки... Насчет сына выяснилось быстро — в командировке, а со снохой дядя Вася «раздрызгался». Что же до всего прочего — обнаружилась полная неразбериха: дядя Вася сумбурно и путано громоздил одну на другую какие-то истории, так что мне пришлось совершенно в духе криминалистических изысканий докапываться до первопричины, чтобы затем, отталкиваясь от нее, расположить события в разумной последовательности.

Начать, вероятно, следовало бы с того, что дядя Вася, сколько он был мне известен, «не любил» выпить. Впрочем, это — общее для всех дядей Вась свойство, а уж отчего так — судить не берусь.

В пору моего детства, когда принято было каждое воскресенье либо принимать гостей, либо отправляться в гости, когда каждый праздничный день заканчивался дружным, хотя и не вполне стройным пением «камыша» и «рябины», дядя Вася частенько бывал у нас, да и мы наезживали к нему в Перерву. Теперь это Москва, а тогда — полвека назад — там еще водились рябчики, тетерева, да и зайчишки иногда попадались, так что к приезду нашему дядя Вася неуклонно добывал дичь. Работал он инженером на легендарной станции аэрации — ее знает всякий москвич, не имеет права не знать: отец мой, выбрасывая в унитаз окурки, привычно напутствовал их: «К дяде Васе»...

Тетя Тая принадлежала к известной фамилии: батюшка ее и дед в свои времена достойно поусердствовали на ниве отечественной живописи. Унаследовав от предков доброе предрасположение, она вела теоретический курс в художественном училище, при этом еще немножко «красила» и сама. Какой-либо оценки ее творениям — даже самой неграмотной — я дать не могу, так как видел их только в детстве и плохо помню. Сдается, правда, что работы ее были безусловно реалистичны. Однажды я сам наблюдал, как в писанные ее рукой гладиолусы бился шмель. В другой раз дяди-Васин гончак впрыгнул всеми четырьмя лапами в траву, изображенную на пейзаже, — пейзаж этот, подготовленный к выставке, был вынесен из дома и дожидался погрузки в автомобиль.

Но, несомненно, лучшим подтверждением реалистичности ее холстов являлся случай, о котором любил рассказывать мой отец. Будто бы дядя Вася, вернувшись как-то с очередного ристалища, очень долго оправдывался: мол, не пил и не думал, да и вообще ни в одном глазу, ну, может, только так — кружечку пива, ну что ты молчишь, скажи хоть что-нибудь, — пока наконец не обнаружил, что беседует с автопортретом жены.

Тетя Тая была женщиной тихой, неразговорчивой и, как понял я с течением времени, довольно замкнутой.

Единственного сына их, а он был старше меня лет, наверное, на семь, я тоже не видывал с детства. Помню, как он, выучившись для необъяснимой надобности играть на самой большой трубе, демонстрировал мне свое умение: разложил ноты, два раза дунул, перевернул страницу, дунул вновь, теперь уже один раз, после чего вытер лоб и внушительно объявил: «Варяг». Тем же манером он исполнил еще несколько заветных вещей. Окончив школу и училище, стал офицером, служил где-то далеко и, лишь выйдя в запас, вернулся в Москву. Тут-то и произошел «раздрызг» со снохой — насколько мне удалось понять, причиной тому послужила неуемная захватническая страсть этой женщины: проще говоря, она попыталась выжить стариков из квартиры.

Это все — предыстория. А история того события, которое привело дядю Васю ко мне, начиналась с позднейших времен. Постигая ее, я между тем названивал в милицию, морги, но безрезультатно.

...Выйдя на пенсию, дядя Вася решительно заскучал: прежде, бывало, он с приятелями чуть не каждый рабочий день завершал в шашлычной, а тут вдруг мир ограничился стенами квартиры, для «выходов» же остались одни юбилеи да поминки. Он уж и выпивать почти перестал — здоровье не позволяло, но по гостям хаживал, случая упустить никак не мог. Хаживал пообщаться, разговоры послушать, любил, чтобы послушали и его. Дяди-Васины рассказы я помнил с детства.

Про то, как ехали на аэродром — в Боровичи, кажется. Опаздывали, а машина то и дело ломалась. В конце концов не поспели — «дуглас» взлетел у них на глазах. Дядя Вася набросился на шофера, дело дошло чуть ли не до расстегивания кобуры, но в это время раздался взрыв — самолет упал. Шоферу потом, винясь, флягу спирта отдали. «Полнехонькую», — подчеркивал дядя Вася.

Другой эпизод касался выхода из окружения.

С одним сержантом перебирались по гати через болото — дело было под утро: сумерки, туман. Слышат — навстречу немцы идут. Ну, сползли в топь — с головой, а руками за бревнышки ухватились. Немцы прошли, не заметили. У дяди Васи один палец так и не разгибался с тех пор — крючком, сержанту же отдавили кисть — пришлось ее ампутировать, а потом он и вовсе помер от гангрены.

Третья эпопея происходила в какой-то европейской столице уже после подписания капитуляции. Дядя Вася брел по ночной улице и обнаружил «виллис» со спящим водителем: «Пьян мертвецки! Голова на руле, руки обвисли!» Растолкал. Объяснил, что ему надо в штаб, поехали. А когда подъехали к КПП, где горели яркие фонари, дядя Вася увидел на капоте машины огромную белую звезду: «Американец! И как он понял, куда меня отвезти? Ну, малый! Ну, силен! Выгрузил — и опять отрубился!»

Был у дяди Васи еще сюжет — про возвращение с Японской. Он приехал в Перерву на белом коне, к седлу которого была приторочена фисгармония, а на поясе самого дяди Васи болтались три огромнейших пистолета. Пистолеты потом пришлось сдать. Правда, сдал дядя Вася только два — третий тетя Тая утопила в Москве-реке. Вместе с сотней патронов. Коня конфисковали по закону о раскулачивании, а фисгармония сохранилась, и тетя Тая с удовольствием играла на ней «Баркаролу» Петра Ильича Чайковского.

Все это дядя Вася обычно и рассказывал гостям юбилеев и поминок. Тетя Тая его путешествий не одобряла и сама никогда в них не участвовала. А тут получилось трое поминок подряд — дядя Вася аж в Саратов гонял, и тетя Тая не выдержала: перед треть-

ими похоронами обиделась. А когда гуляка вернулся, — и ездил-то на один денек, третьи поминки недалеко были, в Мытищах, — супруги на месте не оказалось: «Таисья пропала!»

Ее не было день, ночь, а наутро дядя Вася начал метаться и попал ко мне: он пребывал уже в полной растерянности и ничего полезного придумать не мог.

Звонили десяткам знакомых — близких, полузабытых и забытых совсем, опять в морги... Наконец в одном из них нас «обнадежили»: поступила сбитая автомашиной женщина без документов. Впрочем, тут же и выяснилось, что ни по одежде, ни по внешности, ни по возрасту несчастная ничего общего с тетей Таей не имела.

Не берусь теперь восстановить ход своих мыслей, только в какой-то момент я поинтересовался у дяди Васи, не могла ли супруга его по собственному ее желанию прилечь в больницу? Оказалось, могла: знакомая врачиха давно уже уговаривала ее пообследоваться на предмет повышенного давления, почек и чего-то еще, но тетя Тая пожимала плечами — у нее не болело ну совсем ничего.

Отыскали больницу, тут же и супруга нашлась. Старики маленечко побеседовали, дяде Васе велено было немедленно возвращаться домой и встречать тетю Таю. Так закончился этот нервический эпизод. Я звонил в милицию, полузабытым родственникам и знакомым, виновато давал «отбой», а дядя Вася возбужденно и весело мешал мне.

— Представляешь, — рассказывал он, едва сдерживая радостный смех, — она говорит: «Ты все-таки поехал к Пучкову?» Я говорю: «Поехал». А она: «И Валентина там была?» Я говорю: «А как же!» Она тогда: «Ну и как она?» Я говорю: «Почти не изменилась». Таисья аж чуть не взвыла. «Ты, — говорит, — и прежде ей шоколадки покупал, а мне — ландрин»... Ну, ничего, обошлось...

— Какая Валентина?

— Не помнишь, что ли? А! Это до тебя было. Когда мы в Москву приехали, у Таисьи подруга завелась, Валентина, ну она и давай меня к этой подруге ревновать — та уж и замуж вышла, а эта всё... Ландрин какой-то...

— Когда ж это было?

— Это?.. Году, наверное, в двадцать восьмом.

— И что, с тех пор так и тянется?

— Ну да: то к Валентине, то еще к кому. Валентины-то я лет пятьдесят не видел — она теперь согнутая вся, с клюшкой, а тогда — ничего была.

— И не тяжело, дядя Вась?

— Чего?

— Ну, терпеть все это?

— А чего тут тяжелого: жена — она и есть жена, мы с ней уже седьмой десяток вместе живем... С нейто легко, а вот со мною... Я же одно время знаешь до чего допился?.. А-а, то-то же. В общем, стали ко мне являться лукашки да окаяшки. Как надерусь, они и являются.

— Что, с копытами и рогами?

— Насчет этого не скажу: на ногах — штиблеты, а волос у них кучерявый, так что не разглядел, да и хвостов не видал — при костюмах ведь, но в остальном — носатые и серой воняют, вот, брат!.. Один, кстати, сильно похож был на председателя худсовета, которому Таисья картины сдавала. Он всё пейзажи не любил, заводы всё требовал, фабрики... да. Ну, это так, к слову. Однажды я, знаешь, психанул на них, а они народ такой, всё, бывало, посмеиваются да ухмыляются, — ну, психанул, стало быть: схватил топор и ка-ак хрястну! Что тут было!.. Искры, огонь, дым... Оказалось, по телевизору саданул. Ну, выкинул телевизор. И этих, знаешь, сразу же поубавилось. Сильно поубавилось... Вот, брат... Так что несладко ей со мною пришлось, несладко. Однако шестьдесят лет прожили. Это вы — нынешние: чуть что не так — побоку, разошлись, как в море корабли. А чего расходиться-то? Это ж — крест: взвалил на себя — и неси, до упора неси, до конца. Чего его сбрасывать-то? Увидишь какой поменьше, думаешь: о, возьму его! Сбросишь свой, новый подхватишь, а он хоть и поменьше, зато из чугуна. Потом глядь — еще меньше: цап его — а он вовсе свинцовый. Сменяешь на пенопластовый, а тот — орясина — за все кусты задевает. Снова какой-нибудь деревянный подберешь — ан весь в занозах... Так что тащи, что дали, и не рыпайся: браки совершаются на небесах — это мне Таисья сказала, когда я начал ее... это... уговаривать... Мы ж с ней на дороге лесной сошлись: я из дома сбежал, учиться двинул, а у нее родителей шлепнули, вот и шастала, неприкаянная... Было нам тогда по пятнадцать лет. Ну на небесах, говорю, так на небесах: зашли в церковь, обвенчались, вот и живем с тех пор. А насчет разных там выкрутасов, вроде больницы этой, — ерунда, на ход поршней не влияет. Как наставлял меня тот священник — ну, который венчал нас: «Женщина — сосуд слабый, немощный, ты уж побереги ее». Так что извини и спасибо.

Мы попрощались, и дядя Вася ушел. Через несколько минут позвонила мне тетя Тая. Попросила прощения за то, что «по своей бабьей глупости» — ее слова — доставила столько хлопот мне и Василию — «человеку великодушному и благородному». «Вы знаете, — сказала она, — кроме меня, никто и не ведает, как он прекрасен и чист — я ведь и мизинца его недостойна...»

Так что же соединило этих столь непохожих людей на весь их жизненный срок?.. Во времена, когда семья все более и более напоминает собой поле бессмысленной и жестокой битвы, супружество дяди Васи и тети Таи изумляет своею едва ли не фатальной надежностью.

Дело тут, думается, вот в чем: они верили, что браки совершаются на небесах, потому их брак на небе и совершился.

ВЕСЕННИЙ СОН

Городишко этот знаменит лишь своим прошлым: в конце девятнадцатого столетия некая предпринимательница, скупив в округе леса, основала здесь бумажную фабричонку, которая вскорости начала поставлять бумагу двору Его Императорского величества и королевским дворам Европы. Продукция, надо признать, отличалась высочайшим качеством: белизна — белее первого снега, плотность такова, что чернила нисколько не расплываются, а водяные знаки — любой сложности, по заказу.

Дело велось с размахом, но осмотрительно: из сотни деревьев ежегодно вырубалось только одно, и на его место непременно высаживалось малое деревце хвойной породы.

Фабрикантша облагодетельствовала город железнодорожной веткой, школой, больницей, церковью, магазинами, народным домом — театральным зданием с механизированной сценой и, наконец, — «рейнскими погребами», в которых к стакану деликатнейшего вина бесплатно прилагалась телячья котлета. Монополька была изгнана в сельцо верст за десять, и это вызвало гнев губернских властей. Полицмейстер срочно выехал наводить порядок, да в тот же день ни с чем и вернулся — своенравная барынька даже не соизволила явиться на станцию, и встречала полицмейстера лесная стража — дюжина мужиков как на подбор: все могучие, с бородами, все в одинаковых кафтанах, у каждого за плечом ружье. Высокий гость плюнул в сердцах на перрон и тем совершенно исчерпал содержание своего визита.

Потом, правда, в каком-то собрании, губернатор сумел уговорить фабрикантшу, и вертеп был приближен к городу на три версты.

В двадцатых годах эта одинокая женщина скончалась голодной смертью.

Фабрика и доныне стоит: она сильно выросла и производит дешевый гофрированный картон. Служит и железнодорожное полотно, не ремонтировавшееся, впрочем, со времени дровяных паровозов, служат и больница, и школа, и народный дом, и магазины. Церковь вот только снесли да лес повырубили.

По всему видно, что хвалиться сегодня нечем. Но разве может провинция без бахвальства? Нет, конечно. Даже при самой бледной выразительности бытия какой-нибудь повод да найдется: на безрыбье, известное дело, и рак — рыба, а на безлюдье и Фома — дворянин. Однако ругать за это провинцию не следует, так как происходит упомянутое хвастовство не столько от самомнения граждан, ее населяющих, сколько от неукротимой любви этих граждан к родной земле.

Наш городишко тоже отыскал повод похвастаться: «Про Семакова слышали?.. Нет?.. Как кто такой? Герой! Всамделишный! И всяких прочих орденов и медалей — без счету».

Семаков — достопримечательность местного масштаба, и ничего более. Был некогда депутатом, дремал в президиумах, выступал на собраниях, печатал статьи в районной газете, потом начисто отошел от общественных мероприятий, купил в пустующей деревеньке избу и уединился для охоты и пчел, которых в иные годы держал семей до пятидесяти.

Говорили, что жена Семакова «вольничает». Я про это совершенно ничего не знаю, однако известно, что она лет на двадцать моложе его, как будто бы весьма недурна собою, что детей у них нет и что супруг с весны по ноябрь далеко в лесу, то есть, конечно, о семейной гармонии говорить в данном случае затруднительно.

По всей вероятности, Семаков приметил ее в ту пору, когда находился возле самой вершины районного Эвереста. А потом он гору оставил, да и сил, наверное, поубавилось... Эти обстоятельства едва ли могли притягательным образом подействовать на молодую красавицу.

Родом он был вологодский — из Устюга, кажется, или из Тотьмы — не помню, боюсь соврать. Упоминал он оба города: в одном родился, в другом учился, из одного призывался, в другой с войны возвращался. Можно предположить, что где-то там — в Устюге или в Тотьме — была у него прежде иная семья, но только предположить, потому что и об этом я ровным счетом ничего не знаю.

Однажды мне довелось провести у Семакова в гостях целый день, и то, что он рассказал мне, заслуживает куда большего внимания, чем свойства его семейного жития, которые, сколь ни были бы они грустны, вряд ли обнаружат в себе хоть гран неожиданного. Сдается, время непохожести несчастливых семей куда-то кануло.

Произошла наша встреча на весенней охоте. Я искал дорогу к труднодоступному мху, славившемуся обилием глухарей, не нашел и коротал вечер на тяге. Место казалось мне вполне подходящим, однако ни одного выстрела сделать не довелось. Между тем совсем неподалеку стреляли, и весьма часто. Я подивился — по моим расчетам, вокруг широко расстилалась ненаселенная глухомань, болота, и вдруг... Переночевав у костра, отправился в направлении вечерошней канонады, вышел на заросшее мелким березняком поле — посреди поля стояла изба. Вот так, вполне нечаянно, я и оказался у Семакова в гостях.

Мы, понятное дело, представились, а Семакова именовали редкостно — Дорофеем Дормидонтовичем, — и разговор естественным образом склонился к обсуждению прежних имен.

— У нас там, — начал Семаков про Устюг или про Тотьму, — что ни старик, то по нынешним временам какая-нибудь диковинка. На грамотных батюшек, видно, везло — грамотные священники обычно по-гречески увлекаются. Вот, скажем, дядька мой —

Платон Афанасьевич или сосед — Каллистрат Валерьянович... Старшую мою сестру Хионией зовут, младшую — Мелитиной...

Он перечислил еще десятка полтора родственников и знакомых, и это все были Нифонты, Маркеллы, Пантелеимоны и даже один не то Лавр Флорович, не то Флор Лаврович — сугубый конечно же латинянин.

Потом Семаков угостил меня чаем с лепешками, — которые пек вместо хлеба, — весьма, кстати говоря, приятными на вкус, и вызвался проводить до глухариного тока.

Шли мы по узкоколейке, проложенной в довоенные времена и брошенной в начале шестидесятых. Местами ивняк и лещина подступали уже к самому полотну, однако между рельсами оставалась еще тропинка — твердая и сухая, по которой можно было идти гуськом — так мы и шли: впереди Семаков, я — следом. И разговаривали.

— А как вы сюда попали? — спросил я его.

— После войны-то? Приехал знакомые места посмотреть — и остался. Я ведь воевал здесь. Об этом, правда, мало кто знает. Воевал, понимаете ли, так, что ни одного выстрела и не сделал — из окружения выходил. Аккурат по этому узкоколу. Вообще-то мы южнее стояли... Под Москвой наступление давно идет, а мы ждем-пождем. Ну, в феврале—марте командование стало примериваться: то деревеньку какую возьмем, то высотку. Немцы вышибут — мы по новой. Вот так с пушчонкой однажды и влипли: сунулись удирать — сзади танки, мы в лес — там болото, обогнули болото — немецкая часть стоит, мы дальше на север. Вдоль линии фронта и шли. Километров сорок, наверное. И все с пушечкой, а боезапасу — один снаряд: подорваться вместе с орудием в случае крайней необходимости...

Подошли к реке. Деревянный мост, некогда переброшенный через нее, давно разрушился, однако в нагромождении балок Семаков знал надежный ход, и мы, карабкаясь, медленно, но вполне благополучно переправились.

Мне доводилось слышать множество военных историй, однако я впервые находился с фронтовиком в местах его боевых действий, в местах, что немаловажно, почти не изменившихся за полвека, да еще и время года совпало...

— Мы чего шли к северу? Знали, что здесь, в болотах, сплошной линии фронта нет, и надеялись проскочить где-нибудь. Вот до этого места ползли трое суток — по десять верст в день. Хорошо еще, что снега не было. Огня не разводили: лапнику наломаем, уляжемся потеснее — вот и вся ночлежка, околеваем, но спим. Харч давно кончился... Ну а сюда вот, к реке, вышли и поняли: не видали мы еще настоящего лиха... По мосту не перебраться — охрана, а река разлилась так, что... ну как сейчас!..

Сейчас лес был затоплен. Из темной, почти черной воды торчали кое-где верхушки цветущей вербы. Я спросил Семакова, что же тут охраняли немцы? Оказалось, узкоколейка использовалась для снабжения войск.

— Танки по ней, конечно, не перебросишь, но живую силу, продовольствие, боеприпасы да орудия, если небольшого калибра, — можно. Тут вагончики были, платформы, паровозики-«кукушки» — движение круглые сутки шло. Специальные бригады путь ремонтировали, словом, жизнь кипела. Ну и охранялось все по высшей немецкой категории... Решили переплавляться. Отошли от дороги подальше, связали из валежин небольшой плот — нескладный, помню: все бревна разной длины — топорами-то не постучишь, так что — где длинное, где короткое... Ну вот, закрепили пушечку и — сначала пеше, потом вплавь, потом опять пеше — выбрались кое-как. Целый день потеряли! Прошли маленько, — а дело к ночи уже, — сбегал один на разведку, говорит: так и так, впереди поле, на поле деревня, у опушки — сарай. И мы из последних сил как рванули в этот сарай... Затолкали пушку, попáдали на гнилую солому — и как не было нас... И вот ведь, брат: знали, что немцы кругом, но... какое там! Помню, последняя мысль была: пусть хоть убьют, только бы не будили. Проснулись к полудню. Выглядываем — рядом с сараем этим... ну, метрах в пятнадцати — проселочная дорога, и следов на ней немецких — полным-полно, да все свежие, прямо на глазах жижей затягиваются. То-то, думаю, фрицы мне снились, — а они несколько раз снились: смеялись, кричали что-то, но я все равно не просыпался — сил не оставалось, так что наплевать мне на фрицев было... А тут гляжу: не сон это — шли они вот здесь, совсем рядом, и смеялись, и разговаривали... Ну ладно. Просидели до темноты, а есть охота!.. Направили одного в деревню. Возвращается: вареной картошки принес и рассказывает, что с утра мимо сарая нашего прошло четыре немецких взвода, вот так-то... Чудо нас сберегло, не иначе — надо же: никто не заглянул в ворота. Сидим мы, значит, продрогшие и не знаем, куда дальше двигать. Ночью подваливают разведчики — наши, стало быть: тоже в деревню шастали, деревенские их и навели. Пушку заставили бросить: мы ее, понимаешь, волокли, волокли, столько мук из-за нее перетерпели и — нá тебе. Но пришлось, с нею бы нам не выбраться. Вывели нас разведчики, сдали куда положено, тут, само собою, начались допросы, расспросы... Про это я не люблю распространяться — невеселые времена... Ну вот мы и пришли.

Подошли к стрелке — они и раньше попадались, ответвления от основного пути, однако нужный мне поворот был именно у этой стрелки. Здесь нам предстояло расстаться. Семаков обрисовал дальнейшие ориентиры, я поблагодарил и на прощание поинтересовался, с чего это он оставил шумную деятельность?

— А, это... Да никакой тут загадки нет: врать надоело. У нас ведь главное дело власти — народ обманывать... Так что бросил все и купил последнюю избушку в той самой деревне, которая нам жизнь спасла. Это, конечно, чудо, что немцы нас, спящих, миновали. А другое чудо в том, что все мы, кто пушку тащил, с войны вернулись.

Я признался, что не понял его.

— Мы тогда научились, можно сказать, самому главному: мы усвоили, что война — это, прежде всего, тяжелейший труд. Жуткий, нечеловеческий! А уж стрельба, взрывы, ранения, смерть — так, десерт. В общем, заматерели мы за те дни, и воевать нам стало полегче. Хотя, конечно, и нас подырявило...

— А Героя, — спрашиваю, — вы за что получили?

— Героя? Это позже, за форсирование Днепра... А пушечку все равно жалко... Ну ладно, бывай здоров.

На этом расстались.

Спустя несколько лет я узнал, что на месте достопамятного сарая Семаков построил часовню.

МАША

Маше Кнорре

Отец ходил по Волге баржевым шкипером. Мать, как повелось у *баржевых*, работала при нем матросом. Жили они в кормовой надстройке, здесь Николушка и родился. Была зима, баржа стояла в затоне, и отец сколько мог утеплил жилье: обшил тесом и настелил пол. Согревала их небольшая железная печка, служившая заодно и кухонной плитой. Почти на всех соседних суденышках точно так же зимовали другие семьи — целая деревенька. Этим волгарям просто некуда было деваться — за войну они утратили кров.

Первые семь лет Николушка существовал при родителях, потом его определили на берег — в школу-интернат, где он сменил своего старшего брата, поступившего в мореходку. Некогда у них была и сестра — предвоенного года рождения, но во время эвакуации она заболела и умерла. Эвакуировалась семья недалеко: от родного Сталинграда километров двести пятьдесят вниз, где взрослые работали подборщиками — подбирали трупы, плывшие со Сталинградской битвы. Там, в селе, девочку и похоронили. Иногда родители навещали могилку, брали с собой и Николушку. Капитан буксира останавливал караван и ждал, пока они на лодке сплавают в село и вернутся обратно.

Кроме обычной школы, Николушка посещал и музыкальную — уж очень отец любил музыку: сначала возил с собой патефон и меж фронтовыми песнями слушал романсы в исполнении Надежды Андреевны Обуховой, потом приобрел радиолу и множество самых разных пластинок.

Чаще других крутили Чайковского: по мнению отца, сочинения выдающегося композитора особенно гармонировали с волжскими берегами. Такой же чести удостоились некоторые произведения Глинки, Рахманинова, Бородина и Калинникова. Бывало, отец заведет пластинку, выйдет на палубу, смотрит на проплывающие берега и слушает, слушает... Потом говорит: «Годится!» Или: «Не годится!» Это уж кому как повезет. К его прискорбию, в музыкальной школе были только духовые инструменты — их Николушка и осваивал.

Летом, в каникулы, он жил с родителями на барже, помогая в меру сил и умения. Шкипер, а по судовому расписанию — баржевый — опускал и поднимал якоря, отвечал за швартовку, подруливание в сложных местах: у причалов, мостов и шлюзов, вечером зажигал на мачте огни. А еще приходилось то и дело ремонтировать что-нибудь, подкрашивать, драить, смазывать — Николушка во всех этих делах и участвовал. Мать стирала, готовила еду, но при необходимости могла не хуже отца управиться с якорями или швартовкой.

Последние школьные каникулы он, как обычно, проводил в плавании: из Ярославля вниз по реке везли автомобильные шины, из Астрахани вверх — арбузы. В Астрахани — хорошо: только станет баржа под погрузку, появляются люди с черной икрой. Отец повыбирает, повыбирает, наконец выберет: возьмет литровую банку «наисвежайшей зернистой», поставит на стол и протягивает столовую ложку: «Держи, Коль, икру надо есть ложкой». Ну, понятное дело, помидоры еще, арбузы, фруктов всяких полно... А уж рыбы сколько! Хоть на рейде, хоть у причала — Колька прямо с борта лавливал и сазанов, и сомов, и жерехов, и окуней, и судаков, и щук... Про воблу говорить нечего — ее вялили сотнями. До чего же хорошо в Астрахани! Было... тогда... Впрочем, и сейчас еще неплохо.

Загрузили баржу арбузами и отвели на рейд — ждать второе суденышко: их должны были буксировать парой.

Коля с самого утра рыбачил и успел уже много чего наловить. Тут подошел пассажирский дизель-электроход из Москвы: ожидая, когда освободится занятый кем-то причал, он тихонько подрабатывал винтом и стоял совсем рядом. Это, конечно, мешало забрасывать снасти, и Колька прервал занятие. Поворошил землю в старом ведерке — посмотрел, сколько осталось червей: в Астрахани червяков нет, приходилось возить из Ярославля. Решил, что на утро хватит, а больше и не надо было — днем следовало отправляться.

От нечего делать поднялся по лесенке на крышу надстройки, где был огромный штурвал, управлявший рулем, положил руки на этот штурвал и стал бесцельно рассматривать дальний рейд, причалы,

набережную... Оборотился к дизель-электроходу, который никак не хотел уходить, увидел капитана в рубке, двух матросов, укладывавших канат на нижней палубе... За окном одной из кают светлело лицо девушки... Он не успел еще разглядеть это лицо, но замер и перестал дышать...

Он даже не подозревал, что мгновение, пролетевшее только что, перевернуло всю его жизнь.

Потом девушка выбежала на палубу.

— Как тебя зовут? — крикнул он.

— Маша, а тебя?

Он назвался. И тут пассажирский начал набирать ход.

— Как найти?

Девушка несколько раз прокричала номер, Коля запомнил.

Зимой они общались только по телефону, и то — редко, когда Коле удавалось накопить денег. Летом, к полной неожиданности для родителей, он поехал поступать вовсе не в мореходку, а в музыкальное училище — он поехал в Москву. И поступил. Маша отдыхала с матерью где-то на юге и вернулась только к первому сентября. Тут и у него, и у нее начались занятия — а она училась в десятом классе, и поначалу встречи получались краткими, на улице. Наконец Коля был принят в доме и представлен матери — отец давно завел другую семью и не появлялся.

Теперь все свободное время он проводил либо в гостях, либо, ожидая ее из школы, на трамвайной остановке. Обнаружилось, что у Маши есть и другие поклонники, а среди них — вполне состоявшиеся молодые люди с профессией и зарплатой, а не с жалкой стипендией.

— Ты волнуешься из-за них? — как-то спросила Маша.

Коля кивнул.

— Не волнуйся, — спокойно сказала она.

Однако он продолжал страдать. И не столько изза поклонников, сколько из-за себя самого: с каждым днем собственный провинциализм и необразованность становились ему все очевиднее. Он понимал, что там, в Астрахани, на Волге, он был в своей стихии и, вероятно, произвел на девушку какое-то впечатление, а здесь он превратился в экзотику — деревенский трубач.

Машина мама так и называла его — Трубачом. Она занималась литературным переводом с французского, была хороша собой, жаждала замужества, и среди ее гостей то и дело оказывались знаменитости.

Отчуждение нарастало, и однажды он с грустью произнес:

— Ты, кажется, меня совсем разлюбила.

— Нет, — отвечала Маша словно в раздумье, — я люблю тебя, — но в голосе ее слышалась недоговоренность. Лишь спустя годы он понял, что это было предчувствие несбыточности.

Следующим летом, когда Маша должна была поступать в университет, Николай со студенческим оркестром отправился на гастроли: он хотел заработать деньжат, чтобы приодеться и выглядеть посолиднее. И началось: перелеты, переезды, концерты, репетиции — то в гостиничном номере телефона нет, то есть, да разница во времени такова, что в Москве ночь глубокая. Да тут еще флейтистка на соседнем стуле — когда плечиком, словно невзначай, прикоснется, когда коленкой. В общем, долго не звонил он в Москву. А позвонил — никто не отвечает. И в другой раз, и в третий...

Вернулся Николай — а в квартире Машиной никого нет: свет по вечерам не зажигается. Потерялась Маша. Тут, правда, одна пианистка предложила подготовить концертную программу для гобоя и фортепиано. Полгода готовили, можно было давать концерт, однако появилась вокалистка — меццо-сопрано, из-за которой инструментальный дуэт вмиг рассорился.

Однажды вечером свет в Машиных окнах зажегся. Николай радостно подбежал к дверям, но оказалось, что там поселились чужие люди. Они сообщили только, что квартирный обмен получился сложным, многоступенчатым, и что прежняя хозяйка, кажется, вышла замуж за овдовевшего дипломата и уехала в неведомую страну.

Потом Николай окончил консерваторию, играл в хороших оркестрах, стал лауреатом конкурса.

Он был дважды женат, разводился и век свой доживал в одиночестве. Оборачиваясь в прошлое, с удивлением убеждался, что женщины не оставили в его душе никакого следа — совсем никакого. Там была только Маша. Единственная. Меж тем они и поцеловались-то по-взрослому лишь раз. Был зимний вечер, они стояли в сквере у Машиного дома, под фонарем, снег падал тихими хлопьями... Их бросило друг к другу с такой силой, что губы — в кровь. «Как еще зубы не повыбивали», — смеялись они потом над своей неумелостью.

И ему верилось, что она непременно жива, и все-то у нее слава Богу: муж, дети, внуки... И все они здоровы и благополучны. И от этой мысли ему становилось радостно и тепло, и он улыбался. Но временами подступала боль: ах, если бы встретиться с ней, пусть хоть ненадолго — на мгновение... Ему казалось, что вся прошедшая жизнь обрела бы тогда какую-то упорядоченность, завершенность, какой-то смысл. Он ощущал себя раздерганным, расстроенным инструментом: одна струна настраивалась под одного человека, другая — под другого, третья — под третьего... А тут, глядишь, осталось бы только то, что связано с Машей, все прочие струны можно было бы выкинуть. Пусть не арфа, пусть балалайка, зато — с чистым голосом. И вместо омерзительного дребезжания он, быть может, услышал бы мелодию хоть и простую, но ласковую, красивую.

Если бы встретиться... Хоть на миг...

СТАРЫЕ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ

Жизнь наша протекала легко: мы охраняли и обслуживали небольшой склад горюче-смазочных материалов. Располагался он в стороне от войсковой части, и начальство наведывалось к нам редко.

Мазутная команда — как мы сами себя называли — состояла в основном из «военкоматовских отходов», то есть из призывников старшего возраста, у которых кончились существовавшие по тем или иным причинам отсрочки. Были среди нас выпускники и недоучившиеся студенты, добропорядочные папаши и разведенные холостяки.

Служилось нам спокойно и тихо: ни ссор, ни поломок, да и вообще никаких ЧП. Всё б ничего, да только, как дойдет дело до стрельб, смотров, соревнований, мы, как ни стараемся, выше последнего места подняться не можем. И ладно бы: раз — последнее, другой — еще какое-нибудь, нет — решительная определенность.

Наш командир — капитан Белочкин, столкнувшись с этим удивительнейшим явлением, испробовал все традиционные средства, но ни одно из них так и не помогло. И оттого, вероятно, что средства эти рассчитаны на подростков, а мы... Ну, отправят на кухню. И что? У меня, скажем, мать никогда не умела готовить, да и жена, надо отдать ей должное... И я к тому времени уже столько картошки начистил, столько щей наварил, столько котлет понажарил, что всей мазутной команде за год не съесть, даже если всяк будет в три горла лопать.

Мыть пол в уборной? Мусор выносить? Ну так за людей эту работу никто никогда еще и не делал. Я вот с тех пор, как перебрался в дом-новостройку, чуть ли не ежедневно собираю на лестнице всякую дребедень, вываленную жильцами мимо мусоропровода. Картофельные очистки, пивные пробки и папиросные окурки определяю в совочек веником, а что покрупнее или погрязнее — рукой, и ничего — привык. И соседям понравилось: валят и валят на пол, знают — кто-то все равно приберет. Полагают, наверное, что уборщица. Хотя ее, между прочим, никто ни разу не видел. Скорее всего ее вообще нет, потому как лестницу не только подметать, но и мыть приходится.

Неумение одолевать брезгливость — свойство людей несамостоятельных. В нашей команде таковых не было. Мы хладнокровно выполняли все, что приказывал капитан: чистили, драили, мыли, скоблили, красили и, в отличие от девятнадцатилетних, никогда не высказывали недовольства. Какая, собственно, разница — все равно что-то делать надо, не одну работу, так другую, лишь бы сыскать хоть каплю смысла.

После того как мы в очередной раз заняли последнее место, к нам прислали проверяющего. Им оказался майор Торопов.

В каждой части есть офицер, о котором рассказывают легенды или, на худой конец, байки. У нас таким офицером был Торопов. Ходили слухи, что он отлично стреляет из любого оружия, вплоть до минометов и пушек, что в совершенстве владеет приемами самбо, дзюдо, каратэ, бурятской, таджикской, грузинской и других национальных видов борьбы, что умеет водить машину, бронетранспортер, танк, трактор, комбайн, подлодку и самолет.

Рассказывали, как на учениях он помешал превосходящим силам «противника» форсировать реку. «Противник» все вроде бы предусмотрел: навел переправу ночью, навел быстро, бесшумно. Когда разведчики доложили об этом Торопову и когда Торопов узнал, что командование поддержки не обещает, он решил воспользоваться единственным выигрышным в его ситуации моментом: переправа была на километр ниже по течению. Скатив в воду десяток бочек из-под горючего, Торопов отправил вместе с бочками пару солдат. Пока «противник» вылавливал скребущиеся о металл переправы бочки, солдаты ручными дрелями просверлили дырки в понтонах. А потом уплыли дальше и выбрались в расположении «своих» войск. Едва начало светать, еще в тумане, «противник» двинул вперед технику. Два танка перекатились, и мост стал тонуть. Пришлось срочно разбирать его, наводить новый. Туман рассеялся, поналетели самолеты, форсирование сорвалось. А переправившиеся танки Торопов будто бы еще и в плен взял.

Конечно, не все в этих байках точно соответствовало действительности, к тому же и вариантов ходило множество, однако нетрудно было заметить, что во всех вариантах майор неизменно представал высокопрофессиональным военным. А тот уважительный, подчас даже восхищенный тон, с которым рассказывали о нем солдаты, наводил на мысль, что Торопов, как принято говорить, «родился в офицерских погонах».

И вот он приехал. Ничем не примечательный майор лет тридцати пяти. Обошел территорию, осмотрел помещения, сделал мимоходом несколько деловых замечаний. Потом мы провели показательные физзанятия, загасили учебный пожар, ручной аварийной помпой перекачали горючее из одной цистерны в другую. Майор пообедал с нами в нашей столовой, переговорил с Белочкиным, и мы построились для того, надо полагать, чтобы ознакомиться с выводами и рекомендациями.

— Вы все делаете правильно, — сказал Торопов, глядя нам под ноги, — нормально делаете. Но вы — работаете. — Поднял глаза. — Да, работаете. — Он медленно переводил спокойный взгляд, всматриваясь в лица. — Конечно, воинская служба — это прежде всего работа. Но не только она. — Майор задумался, не то подбирая слова, не то вспоминая что-то. — В вас крепко засела гражданская жизнь. Ну да это вполне естественно. — Он вздохнул, помолчал и с внезапной строгостью в голосе громко спросил: — Значит, так: украинцы есть?

— Я! — вышел из строя рядовой Пересаденко.

— Спойте нам во весь голос: «Распрягайте, хлопцы, коней».

Пересаденко недоуменно смотрел на Торопова.

— Пойте, пойте, пожалуйста, — повторил майор.

Солдат воздел лицо к небу и начал...

— Стоп! — приказал Торопов. — Станьте в строй.

Мы растерянно ждали, что последует далее.

— У кого есть наколки?

Вопрос был совершенно неожиданным, да и мало кто понял смысл его, но рядовой Круглов, опустив голову, молча шагнул вперед.

— Голубей гонять приходилось?

Круглов невесело усмехнулся:

— Приходилось, а что? — Но, посмотрев на Торопова, в мгновение посерьезнел. — Так точно!

— Просвистите: «Здравия желаю, товарищ майор».

Окинув нас виноватым, прощающимся взглядом, Круглов сверкнул фиксой и чего-то там свистнул.

— Громче!

Выпятив нижнюю челюсть и растянув губы, солдат отчетливо просвистал заказанное приветствие.

— Хорошо, — заключил Торопов и попросил нас назвать несколько строевых песен. Кто-то сказал: «Не плачь, девчонка», Круглов — «Через две зимы».

— А из старых ничего не знаете? — поинтересовался майор.

Мы стали припоминать. Припоминали, припоминали, и майор выбрал две, одну из которых от начала до конца знал Пересаденко, другую я.

— Кто обучался в музыкальной школе? — спросил вдруг майор.

Двухметровый Лаппо медленно склонил голову набок. Я прикинул: музыкалку он окончил лет десять назад, после этого стал ватерполистом, и, конечно же, не до музыки было.

— Учили, — вспомнил Лаппо. — Окончил.

— А на чем вы играли?

— Я?.. На этом... на фортепиано...

«Рояли таскал», — пробормотал кто-то во втором ряду. Мы дружно хмыкнули, не сдержались.

— Ладно вам, — обиделся ватерполист. — Я ж тогда не такой был. — Растопырил перед собой пятерни, в каждой из которых, без сомнения, уместилось бы как раз по мячу. — Я ж маленький был, худой...

Оставив без внимания наши реплики и смешки, майор сказал:

— Вас, рядовой Лаппо, я назначаю хормейстером — займетесь аранжировкой, понятно?

— Не-эт... — Лаппо помотал головой.

— Пересаденко — запевала. Круглов — свист, остальные — по голосам, понятно? Сегодня у нас что — четверг? Так вот: двое суток на репетицию, а в воскресенье утром вас будет прослушивать комиссия. Форма чтоб, сапоги... — Обернулся к Белочкину: — По банке гуталина на брата! — С тем и уехал.

Белочкин поморщился:

— Проверяют, проверяют тут, — и вдруг взвился: — А вы чего стоите? Двое суток у вас, понятно? Орите, свистите, только от моего дома подальше! Дуйте куда-нибудь: за сарай, за столовку... Стрелять не умеете, придется теперь через худсамодеятельность выбиваться в люди — капеллу организовывать. Начнем, значит, с пения, а там, глядишь, и до балета дойдем. Лебеди...

Самодеятельность так самодеятельность — чем не занятие? Опять же, названия своих голосов впервые в жизни узнали. У меня, например, Лаппо выявил баритон и сказал, что такой голос в каждой опере нужен. Круглов ему: «Чего ж мелочиться?! Давай тогда «Даму виней» замастрячим». Лаппо подумал, подумал и возразил: «Сопран не хватает».

На другой день с утра обосновались мы в лопухах за казармой. Белочкин тоже пришел. «Негоже, — говорит, — в трудный час от своих солдат отрываться». Он любил нас, капитан Белочкин, мы это знали. Было ему с нами интересно и в общем-то, несмотря ни на что, спокойно, только вот несколько непривычно, пожалуй.

Его определили в альты.

Выучили мы за два дня эти песни, начистили пуговицы, пряжки и сапоги — готовимся к приезду комиссии. Но в воскресенье выясняется, что вместо выступления будут стрельбы. Стрельбы так стрельбы — тоже дело: взяли автоматы, сели в грузовик и поехали. На полпути, перед самым поселком, догоняет нас майорский «уазик». Остановились. Поспрыгивали на шоссе. Майор отогнал машины вперед, мы выстроились в шеренгу по четыре и потопали, сверкая надраенными сапогами. Пешком так пешком — занятие для солдат нужное и полезное. Шагаем себе и шагаем, вдруг:

— За-певай!

Пересаденко, шедший со мною рядом, судорожно хватанул ртом воздуху, вытаращил глаза и:

— Нас по-бить, по-бить хо-те-ли...

Тут Круглов спохватился и как засвищет! Белочкин шел впереди, майор слева, против середины колонны.

— Ве-селей! — успевал он выкрикивать в паузах. — Шире шаг!

— Ес-ли ра-нят те-бя боль-но...

Песня длинная — пока допели, в поселок вошли. Круглов говорит: «Интересно, он и через поселок нас с песняком погонит?»

— Братцы, — простонал Пересаденко, — а у меня стихотворение получилось!

— Как это? — не понял Лаппо, шагавший впереди справа.

— Ну просто из души выскочило.

— Спрячь обратно, — порекомендовал Круглов.

Но Пересаденко не услышал, он уже начал читать:

— Идет солдат в строю веселый, выше ногу подыма, руками машет до отказа и соседу он морга! А? Как?

— Сам сочинил? — не поверил Лаппо.

— Ей-ей, сам!

— Шевченко отдыхает, — сказал Круглов.

— За-певай!

— Вдоль кварта-ла, вдоль кварта-ла взвод шагал...

У калиток кое-где появились люди.

— Позорище с нас хочет сделать, — сказал Круглов.

— Ллевой... ллевой... рраз, два, три-и! Рраз.. рраз... рраз, два, три-и! — яростно командовал Торопов.

— За-певай!

— Вдоль кварта-ла, вдоль кварта-ла взвод ша-гал...

Мы прошли через весь поселок. Увидели крестящуюся старуху, женщин, смотревших на нас тревожно и зорко, смеющихся девушек, серьезно и понимающе глядящих мужчин, мальчишек, то там, то здесь пристраивающихся к колонне. Лица были повсюду: за стеклами встречных машин, у калиток, за оградами, окнами.

— ...Ну, значит, так тому и быть!

— Рраз... рраз... рраз, два, три-и! Рраз, два, три, запевай!

— Вдоль кварта-ла, — то ли Пересаденко очень полюбил эту песню, то ли внутри у него что-то заело, но мы еще два раза подряд пели про Васю Крючкина.

Поселок остался далеко позади, однако, оборачиваясь, мы видели людей, все стоящих возле дороги. Наконец майор приказал остановиться. Подождал, пока мы отдышимся, потом без каких-либо эмоций в голосе полюбопытствовал:

— Так кто вы?

— Мазутная команда, — нестройно и робко ответили несколько голосов.

— Не-эт! — Торопов покачал головой и, выставив перед козырьком своей фуражки кулак с оттопыренным вверх указательным пальцем, призывавшим к особо пристальному вниманию, объяснил:

— Вы — солдаты великой державы.

Тут подкатил «уазик». Белочкин спросил, будет ли майор наблюдать за стрельбами. «Зачем? — пожал он плечами. — Отстреляетесь», — и уехал. Подошел наш грузовик. Белочкин хотел было скомандовать погрузку, но передумал: «Чего тут идти-то? Километр до поворота, а там — вообще пустяки... Ш-шагом аррш! За-пе-вай!» И через полчаса, когда мы приблизились к проходной полигона, те самые караульные, которые обычно встречали нас чем-нибудь вроде «привет снайперам», торопливо распахнули ворота и, отдавая честь, окаменели в растерянности.

— Эй, ком-роты, даешь пуле-меты!..

Мы входили на полигон так, как, наверное, некогда входили армии победителей в ворота сдавшихся крепостей.

Не могу сказать, что стрельбы завершились полным успехом, но авторитет мазутной команды с этого дня начал расти, и последних мест мы, как ни странно, впредь не занимали.

Пересаденко вскоре стал солистом ансамбля песни и пляски округа. Нашли нового запевалу — Стеценко. Этот доблестный воин тоже писал стихи, однако теперь отдыхали не только Пушкин с Лермонтовым, но, кажется, и сам Тарас Григорьевич Шевченко.

Майора с тех пор я не видел. Говорили, что он направлен на учебу в Военную академию.

Пытаясь впоследствии объяснить себе, почему Торопов предпочел современным строевым песням старые, я не находил ничего убедительнее слов, сказанных им пусть и по другому поводу: «Конечно, это прежде всего работа, но не только она».

ТОРЕАДОР

Мы тогда бродили по мелким речкам, в которых водился хариус. Тверская губерния, триста верст от Москвы, а рыбешка — вполне сибирская. Проводником был местный писатель, изучивший здешние края до такой мелкой степени, что прослыл еще и краеведом. Ночевали в лесу — на лапнике у костра и, конечно, не высыпались. И вот как-то возвращаемся: вышли к тракту напротив небольшой деревеньки, ждем автобуса. День солнечный, теплый. Приятель мой устроился на скамье под железным навесом, означавшим автобусную остановку, а я рядышком прилег на траву, по-весеннему яркую, совсем еще не запыленную.

— Тебе здоровья не жалко? — спрашивает.

Он старше меня и, конечно, мудрее.

— Жалко, — говорю.

— Земля-то еще холодная.

— Холодная, — но подниматься не хочется.

— Ну, лежи...

И я лежу.

Солнышко греет, гудит шмель, разморило. И тут произошло что-то неразборчиво шумное: я успел приподняться на локте и увидел, как, срывая с петель калитку, в огород крайней избы вламывается огромный розовый бык, а какой-то человек, убегая от него, заскакивает в сооружение известной надобности. Бык не останавливается, и через мгновение дощатая будка взлетает ввысь и рассыпается там, словно от взрыва. Человек, совершив над штакетником подобие мертвой петли, падает на дорогу, но тут же встает и бросается вдоль домов. Вероятно, чтобы отыскать себе более спасительное убежище. Однако преследователь, сотворив разгром, успокоился и побрел восвояси. Я спросил у приятеля, почему он розовый. Оказалось, что на самом деле он бежевый, а солнечное освещение придает ему столь неожиданный колорит.

Происшествие получилось ярким и молниеносным, однако многозначительность его открылась нам только поздней осенью.

В летнюю пору мы этой рыбалкой не занимались: хариус, известное дело, рыбка нежная, хранению не поддается. Весной и осенью еще куда ни шло, да и то мы старались как можно скорее отдать улов кому-нибудь в попутных селениях, а уж летом, по жаре — безнадежно, пропадет сразу.

Вышло так, что одно из наших осенних путешествий завершилось в той самой деревне. Моросил невесомый дождик, но теперь я, конечно, не лежал на траве, а сидел рядом с приятелем под навесом. Сидим, вспоминаем весенний случай, и тут из-за той же крайней избы появляется все тот же бык. Правда, на сей раз действительно бежевый. И теперь он ни за кем не гонится — его ведет на веревке молодой паренек в плаще.

Когда они поравнялись с автобусной остановкой, сам собой возник разговор, и нам открылась трагическая пастораль быка Платошки.

Выяснилось, что человек, убегавший от него весною, работал здесь пастухом и, похоже, был сильно подвержен гибельной страсти винопития, из-за чего иногда засыпал в тени под кустом. Тут руководство коровами безраздельно переходило к Платошке, который в поисках более тучных пастбищ мог увести все стадо незнамо куда. Случалось, на поля, засеянные совсем для другого предназначения. Начальство было недовольно таким пастухом, а он в отместку истязал животину: зайдет, бывало, на скотный двор, где быка подвязывали за продетое в ноздри кольцо, и бьет его палкой, приговаривая: «Я тебе устрою корриду!» Весной это противостояние едва не завершилось бедой — дощатое сооружение выручило. А неделю назад, когда пастух в бессчетный раз превзошел все пределы и уснул под кустом, Платошка растоптал его насмерть. Парень, который оказался подпаском, повис у быка на шее, но воспрепятствовать не сумел, и жизнь сельского тореадора бесславно оборвалась.

Платошке за это преступление вынесли скоропалительный приговор — на бойню.

— Все теперь называют его убийцей, — сказал паренек, — а он вообще-то тихий... и умный... и коровы его уважают... Ну, бывайте. Пойдем, Платоша.

Бык, неподвижно мокнувший все время нашего разговора, смиренно шагнул за подпаском. Шел он спокойно, не ведая за собой никакой вины, и покачивал головой в такт шагам, как это принято между всеми его сородичами, ступающими по земле.

ТОСКУЮЩИЕ ПО НЕБЕСАМ

Освящал самолет. Небольшой, частный, принадлежащий богатому человеку. Самого предпринимателя не было, меня сопровождали его помощники. И вот, когда все закончил и спустился на бетон, проходивший мимо дядька сказал:

— Ничего себе!

Остановился, осмотрел меня с головы до ног:

— Священник на нашем аэродроме впервые. Полетать не желаете?

— Вообще-то, — говорю, — я часто летаю.

— Так то пассажиром, а я приглашаю за штурвал...

— Вы серьезно?

— А чего там? Во-он стоит, — он указал на маленький самолетик, — мне его с полчаса погонять надо, вдвоем веселее.

Я спросил своих провожатых — их такая отсрочка даже обрадовала: они хотели провести уборку салона. Правда, взволновались:

— А не опасно?

— Уж слишком, — говорю, — красивая смерть: наверное, не заработал.

Сели в кресла, самолетик затарахтел и поехал. Инструктаж оказался непродолжительным: «Вот так — вверх, а вот так — вниз». Взлетели, дядька кричит: «Бери штурвал!» Сжал я рукоятку, а он снова кричит: «Да не напрягай руку, держи свободно!» После чего откинулся в уголок и что-то поет. Иногда показывает рукой: выше, ниже, я выполняю.

Под нами переполненная автодорога, кварталы жилых домов, высоковольтка. Поворачиваю налево. Надо круче, инструктор дожимает рычаг. Теперь внизу коттеджный поселок: кирпичные дома с башенками. Следующий поворот: брошенные свинарники, зарастающее кустарником поле, потом лес, в глубине которого усадьба с зеленой крышей — вероятно, дача вельможи. Еще раз налево, и вижу наш аэродром, некогда военный, а теперь коммерческий, снова шоссейка, дома... Летаем и летаем по квадрату. Я уже пригляделся к тому, что под нами, смотрю вдаль: видна Москва, хотя мутновато, в дымке.

— Ты по времени сколько еще сможешь летать? — спрашивает инструктор.

— Пока не кончится горючее, — отвечаю. Пусть, думаю, провожатые не дождутся меня и уедут, только бы летать и летать.

Он согласно кивает, коротко машет рукой, словно отмахиваясь от всего земного, и опять заваливается в угол кабины. Потом вдруг командует:

— Давай на аэродром: диспетчер передал, что сто пятьдесят четвертый садиться будет.

Жаль, но приходится освобождать зону большому самолету. Нахожу взлетно-посадочную полосу.

— Выравнивай, выравнивай, держи курс.

— Можно сажать? — спрашиваю в шутку, а сам думаю: скажет «сажать» — надо будет как-то выполнять приказание.

— Ишь разбаловался! — и перехватывает рукоятку.

Садимся, заруливаем на свое место, тишина.

— Ты с какого года? — спрашивает инструктор.

Я отвечаю.

— Салага. Я на полтора года старше. Служил на Дальнем Востоке, потом вышел в запас, вернулся домой и теперь катаю и обучаю всех желающих... А ты когда впервые самолет увидал?

— Да был совсем маленьким: жили на Хорошевском шоссе, у Центрального аэродрома, самолеты прямо над головой взлетали, садились...

— Слушай, и я там же!

Оказалось, что мы были почти соседями, однако и дома наши, и школы находились по разные стороны Хорошевки. Он рассказал еще, что через дырку в заборе лазал на Центральный аэродром, чтобы из ящиков, в которые выбрасывали отработавшие свой срок детали, добывать «железяки» — тумблера, маленькие подшипники. Я тоже ходил за «железяками», но не через дырку в заборе, а под шлагбаумом на проходной: отец моего одноклассника был летчиком, и они жили в бараке неподалеку от самолетной стоянки. Я говорил часовому: «К майору Матвееву», — и меня всегда пропускали. Тогда на «Ли-2» американское оборудование заменяли отечественным, и выбрасывалось много всякого хлама. Было мне в ту пору семь лет.

— А ты про дыру-то не знал, что ли?

— Не знал.

— Через нее солдаты в самоволку ходили... Ну, тебе, конечно, зачем, если друг прямо на аэродроме жил. Счастливый...

— Это тебе повезло — взлетел, а я, видишь, на земле остался.

— Не скажи: твое дело тоже в небеса направленное, тоска по небу, может, с тех «Ли-2» и началась. Слушай, а давай я тебя обучу летать: получишь лицензию, насчет здоровья не беспокойся — медсправку сделаем...

— Хорошо бы, конечно, только добираться до вас — замаешься, полдня потерять надо.

Подъехала машина с провожатыми. Я поблагодарил своего соседа. Расстались мы как старые друзья.

КИНО

Отцу Петру выпало нежданное поприще — консультировать съемки фильма.

«На канонической территории твоего прихода будет сниматься фильм, — сказал архиерей. — Тематика сельская, в сценарии есть восстановление храма, так что надо соблюсти соответствие». При этом вручил еще и официальную бумагу, из которой следовало, что отец Петр должен провести на съемках десять дней «в свободное от богослужений время».

Отец Петр и свой храм ремонтирует — целыми днями на лесах, на крыше, да и детишек — четверо: два отрока, два младенца, а тут — кино еще...

И вот приехали: толпа людей, автобусы, грузовики, автокран, легковушки. И знаменитая актриса.

Расположились километрах в десяти от отца Петра на высоком берегу реки и попросили отслужить молебен.

Служит он «перед началом доброго дела» и видит, что никто не осеняет себя крестным знамением, а знаменитая актриса вообще покуривает в сторонке...

— Вы что же, — говорит, — драгоценные братья и сестры, сплошь — нехристи?

Двое или трое послушались, перекрестились. После молебна всякий интерес к священнику утратился: разбили тарелку — обычай такой, поднялся гвалт, и отец Петр незаметно уехал.

Недели через две пригласили осмотреть бутафорский храм, сделанный из гипсокартона.

Церковь была совершенно как настоящая, разве что увенчали ее крестами — задом наперед.

— Какая разница? — недоумевал художник картины.

— Крест, где бы ни находился, всегда смотрит как будто с востока, а нижняя перекладинка должна быть поднята на север, — пояснил батюшка.

— Иконостас шестнадцатого века, — хвалился художник, — скопирован абсолютно точно, — и в подтверждение раскрыл толстый альбом с цветными иллюстрациями.

Иконостас был оклеен бумажными иконами прекрасной печати, но боковые двери забыли, и отец Петр указал их в той же толстенной книге.

— А этих, посредине, что — недостаточно? — спросил киношник, заметно раздражаясь.

Батюшка объяснил, что через царские врата так просто не ходят, что они имеют сущность богослужебную. Но вешать боковые двери все равно не стали: изобразили их краской и привинтили декоративные ручки. А вот кресты повернули правильной стороной.

Через неделю снимали сцену со священнослужителями. Отец Петр заставил переодеть подризники пуговичками вперед. Барышня-костюмер возразила: «Нам же удобнее застегивать сзади».

— Алтарь — единственное место, где вас, к счастью, нет, а нам удобнее застегивать пуговицы спереди, а не сзади, — объяснил батюшка. Это «вас», надо предполагать, относилось в данном случае не только к барышням-костюмерам, а имело значение всеобъемлющее.

Тут подошли его прихожанки, сподобившиеся связать свою жизнь с кинематографом: одни участвовали в массовках, другие грели чай и готовили бутерброды. Женщины, отработавшие по тридцать—сорок лет в леспромхозе, говорили, что за всю жизнь не слышали столько матерных слов, сколько за эту неделю. Отца Петра и самого коробило от разговоров киношников, но, похоже, другого языка они не знали. И знаменитая актриса тоже. Ее не смущало даже присутствие детей на площадке.

Позвонил архиерей:

— Жалуются на тебя. Просили, говорят, погоду наладить, а то дожди не дают им снимать, а ты что сказал?

— Не помню, владыка.

— А ты сказал, что за их матерщину не то что дождь — снег пойдет, было такое?

— Может, и было, и впрямь не помню, но из-за сквернословия действительно сокрушался.

— Ну так вот: вчера, на Успение Пресвятой Богородицы, у них снег пошел.

— Вы шутите?

— Какая шутка? Серьезно!

— Но у меня ничего такого не было, — удивился батюшка.

— Так ты вчера, наверное, службу служил?

— Конечно, Успение ведь!

— Вот и я про то. А они, брат, культуру двигали. В массы. Но ты уж постарайся больше так не пророчествовать: пусть поскорее отснимут да и отправляются восвояси.

— Господи, помилуй, — опечалился отец Петр, — в августе снегопад — горемыки, несчастные люди...

«Шестой раз», «седьмой», «восьмой», — считал он посещения съемочной площадки. На десятый раз приехал, а толпы нет. Зашел в киношный храм, еще раз полюбовался бумажным иконостасом, погоревал из-за мусора, оставшегося после съемок, и вдруг увидел на подоконнике книжицу. Это было Евангелие, послужившее в каком-то эпизоде и брошенное потом за ненадобностью.

«Забыли, — вздохнул отец Петр. — До чего же несчастные, дикие люди!»

Вернувшись домой, он записал имена новых знакомцев для сугубой молитвы.

А фильм этот вышел в свой час на экраны и был отмечен наградами.

УСАДЬБА

Г. Немченко

Старый приятель попросил освятить две дачи — свою и еще чью-то: не то знакомого, не то родственника — не вспомню. Ну да это совершенно не важно — важно, что находились они километрах в двадцати одна от другой, и, переезжая с места на место, мы привернули в Захарово — имение Марии Алексеевны Ганнибал. Близилось двухсотлетие Пушкина, и знакомец мой решил посмотреть, восстанавливается ли усадьба: он был писателем с журналистским прошлым и потому очень многим интересовался.

Среди заваленной снегом поляны высился железобетонный помост — цокольный этаж, по всей видимости. На помосте находилась небольшая группа людей, которые что-то обсуждали, но очень уж невесело, вяло. Приятель мой вылез из машины и пошел к ним, а я остался: журналистского прошлого у меня не было, а священническое настоящее никак не располагало к праздному любопытству. Помнится, один старый архиерей поучал: «Не бегай за проблемами, не гоняйся: если это твоя проблема, она сама придет к тебе на порог».

Приятель перезнакомился со всеми — а это были архитекторы, выяснил, что у них возникли непреодолимые затруднения, и спрашивает:

— Вы священника не приглашали?

— Где же, — отвечают, — его найти?

А тогда, следует принять во внимание, приходов было совсем немного, и батюшки оставались большой редкостью. Тут приятель мой вернулся к машине и говорит:

— Надо бы еще освятить закладку дома.

Вот она и пришла, даже и не проблема вовсе, а задача: малая, простая, служебная — теперь решать будем. Вылезаю я из машины: в епитрахили, поручах, с требным чемоданчиком — архитекторы обомлели. Симпатичные люди такие — мужчины с бородками, дамы в шубах. Взобрался я на бетонный цоколь, поздоровался.

— Вы что, — говорят, — специально ради нас сюда и заехали?

— Да кто ж его знает, — говорю.

Смотрю, сложен первый венец — как раз то, что надо для освящения.

— Где восточная сторона? — спрашиваю.

Они указали — а там против середины бруса лежит топор. Тут настал мой черед удивляться — при освящении надо трижды ударить топором по восточному бревну:

— У вас все уже приготовлено...

Они совсем растерялись: позвали рабочих, начали выяснять, с чего вдруг топор обнаружился на этаком специальном месте, но бригадир отвечал:

— Да кто ж его знает? Где работал, там и бросил, где бросил, там и лежит.

Приятель тоже был изумлен происходящим. Когда уезжали, он сказал архитекторам:

— Любит вас Господь.

— Пушкина любит, — смиренно возражали они и, обращаясь ко мне: — А вы как думаете?

А я думал, что Господь любит и Пушкина, и архитекторов, и всех нас.

С того дня непреодолимые сложности эту стройку уже не посещали, и дом Марии Алексеевны Ганнибал, в котором прошло детство гения, был восстановлен к назначенным временам.

ЗАКАЗНИК

Архиерей вызвал меня и отправил в командировку:

— Там художники — муж и жена, весьма преклонных годов — пожалуй, к восьмидесяти. Они пе-

редали нам несколько храмовых икон и вообще — много чего делают для Церкви. Попросились на этюды. У соборного старосты есть дом в деревне — отвезли их туда.

— А я, — говорю, — владыка, каким боком — к живописи?..

— К живописи — никаким. Но у них есть охотничья собака и ружье. А к этому делу вы в недавнем прошлом — всеми боками... Завтра открывается охота. Посмотрите там, чтобы они не заплутали, не перестреляли друг дружку, чтобы их волк или медведь не съел, в общем — чтобы не было недоразумений.

Еще рассказал, что художники эти — реалисты, то есть пишут мир таким, каким его создал Господь Бог, ничего не уродуют, в отличие от всяких абстракционистов, авангардистов и модернистов.

Дал машину. Спрашиваю водителя, куда мы едем. Он говорит, что сначала по трассе, потом направо, там налево по грейдеру, дальше совсем узкий проселок, а всего километров шестьдесят. Но куда именно мы едем, я так и не понял.

Добрались. Деревня — три избы. Избы страшные: в землю вросшие, покосившиеся, крытые не то линолеумом, не то клеенками. Возле одной — живописцы: этюдники в разные стороны — люди работают.

— Щедрый у нас человек соборный староста, — говорю, — этакой роскошью гостей облагодетельствовал.

— А им нравится, — пожал плечами водитель, который уже бывал здесь.

Отставив занятие, они бросились к нам с восторженными восклицаниями: похоже, им действительно нравилось. Тут же откуда-то из-за деревни налетел шальной фокстерьер, облизал всех и снова улетел за деревню. «И на кого же, — думаю, — они собрались охотиться с норной собакой?» Для такой охоты был совсем не сезон. Сейчас могла бы пригодиться легавая... Оставалось надеяться, что пес хоть как-то знаком с жизнью сеттеров, пойнтеров или курцхааров. А может — спаниелей...

Разгрузили продукты, и машина уехала. Живописцы вернулись к этюдникам, а я пошел размещаться в отдельной избе — похоже, вся деревня принадлежала соборному старосте. Староста этот был из эмвэдэшников, за годы работы в храме воцерковился, но весьма странно... Случалось, разговор коснется каких-то людей, которые, по его правоприменительному разумению, вредны для Отечества, будь то политики, чиновники или рок-музыканты, он и рубит сплеча: «Повесить надо!» Если его одернут, вздохнет: «А что?.. Но, конечно, по-нашему, по-христиански — с любовью».

Отворил я дверь — внутри темно и сыро: темно оттого, что древние стеклышки с годами совсем помутнели, а сыро — от безжизненности. По счастью, печка, как мне и обещали, сохранялась в исправном состоянии, и к вечеру избу удалось просушить.

Следующий день начался спокойно: супруги работали, я ходил по грибы. Но после полудня в деревню заглянули двое мужчин: они шли из леса и тоже — с грибами. Познакомились, разговорились: мужчины приехали издалека — из Тюменской области, — чтобы проведать свою сестру. Сестра не так давно вышла замуж за солдатика, который происходил отсюда, перебралась к нему, родила сына, а он, празднуя это событие, пьянехонький утонул. Вот они и приехали посмотреть на ее существование, а при необходимости увезти обратно.

Оказалось, что в трех километрах от нас есть небольшое село, и стоит оно на берегу озера, а в том озере уток — тьма!

— Отчего же их не стреляют? — спрашиваю. — Ведь сегодня открылась охота.

— И сами не понимаем, — отвечали тюменские братья. — Оттого, наверное, что в селе мужиков не осталось.

А еще они приглашали воспользоваться дюралевой лодкой:

— Она заметная — оранжевая такая. С веслами и не замкнута: катайтесь сколько хотите.

Вечером провели учебные стрельбы. Правда, сначала старик долго не мог собрать двустволку — забыл, как присоединяется цевье. Ну, с этим вопросом управились. Потом я подбрасывал вверх ржавую сковороду, он стрелял — не попадал, а пес ошалело носился вокруг деревни. Тут вдруг дама потребовала ружье. Мы отговаривали, предупреждали о сильной отдаче, но бесполезно.

— Я ведь раньше стреляла, ты помнишь?

— Голубушка, так ведь когда это было?

— Что ты хочешь этим сказать?

Воткнули в землю кол, к нему приставили все ту же сковороду. Ружье было явно тяжеловато для голубушки, и, прицеливаясь, она отклонилась назад. Только я хотел попросить ее стать правильно, как раздался выстрел, и старушка опрокинулась навзничь. Бросились ее поднимать, а она отмахивается ручонками и бранится:

— Почему не предупредили, что так сильно ударит в плечо?

— Да мы говорили, голубушка...

— Но что именно так сильно — не говорили.

— Непослушная, — ласково сказал старик.

— Зато попала! — радостно воскликнула она, поднимаясь и отряхиваясь.

Действительно так: расстояние было небольшое, и сковороду разнесло в клочья. Заодно и кол перебило.

Рано утром, одевшись по-походному, я вышел на крыльцо. Вскоре показались и живописцы. Супруг был в светлом костюме, перепоясанном патронташем, и в соломенной шляпе, из которой торчало помятое перо ястреба-перепелятника. Вчера вечером я уже видел это перо — его откуда-то притащил фокстерьер. Дама была в длинном розовом платье,

тоже — в соломенной шляпке и с белым зонтиком, который в сложенном виде являл собою элегантную трость.

— Мы, знаете ли, решили дачные костюмы надеть, — объяснил старик, — в рабочей одежде неприлично.

Нашему брату времени для изумления не дается нисколько. Мы так часто сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим, что, если каждый раз изумляться, будешь все время ходить с разинутым ртом. А еще ведь и служить надобно — произносить возгласы, проповеди...

Мой наряд явно не соответствовал столь диковинным для охоты облачениям: пришлось вернуться и надеть подрясник. Болотные сапоги я снимать не стал.

Шествовали мы не спеша, чинной поступью, а вот фокстерьер то уносился вперед по дороге, то приносился обратно: городской пес просто обезумел от деревенской свободы. Когда подходили к селу, дама взяла его на поводок, чтобы не нанести ущерба местным курам. Тут как раз стало припекать солнышко, она раскрыла над головой зонт, и в таком виде мы вышли на берег озера. Вправо и влево разбегались вдоль берега избы, а прямо перед нами у деревянного пирса стоял военной внешности серый кораблик с надписью: «Охрана природы». Рядом с ним покачивалась на воде оранжевая лодчонка.

Когда мы грузились, на палубу кораблика вышел из рубки человек в форме лесничего.

— Доброго здоровьица! — Старик приподнял шляпу.

— И вам... здравствовать. — Рассматривая нас, человек отвечал медленно, словно в растерянности.

Пустились мы по волнам: художник в белом костюме, художница под белым зонтиком, я в подряснике и белый пес. Уток на озере было действительно много. Старуха кричала: «Стреляй туда!», старик бил, мазал, пес прыгал в воду, куда-то плавал, ничего не приносил. Наскочили на отмель. Подвязав полы длинной своей одежки, я выбрался из лодки и долго толкал ее. Потом влез обратно. Обогнули маленький остров, и тут я увидел на специальном столбушке железный щит с надписью: «Воспроизводственный участок. Охота запрещена».

Получалось, что этот мелководный залив с камышом и прочей травянистой растительностью был местом утиных гнездовий, и никто здесь не охотился, а мы бултыхались на виду у всего села и почем зря бабахали в небо.

Художники так увлеклись пальбой, что ничего не заметили. Тут, к счастью, погода переменилась: поднялся ветер, начал накрапывать дождь, и мы заспешили к берегу. Я понял, что человек на кораблике — охраняет этот участок и что он был совершенно потрясен невиданными нарядами и от растерянности не смог даже остановить нас. А жители села, ошарашенные престранной картиной, смотрели в окна и, кажется, не решались выходить на порог.

Но теперь-то мы нарушители закона, и старик — самый главный, поскольку именно он стрелял... Хорошо еще, что ничего не добыли. Охранник природы наверняка уже вызвал милицию, и у кораблика нас могла ожидать невеселая встреча...

Вот уж порадуем архиерея! И нечего винить тюменских братьев: они, думается, были вполне искренни — сами только приехали и про здешние края мало что знали: «уток — тьма». Между тем дело неожиданно принимало арестантский оборот — оставалось только молиться...

У кораблика нас никто не встретил.

Дождь продолжался, и когда мы пришли в деревню, белые брюки художника до колен были вымазаны в грязи. А вот супруга его, у которой в одной руке был зонт, в другой — подол, сумела сохранить длинное платье сухим и чистым.

Ночью дождь превратился в ливень, и шофер, примчавшийся рано утром, заставил нас быстро собраться: мы успели доехать до грейдера, пока проселок не развезло.

Гости были премного довольны. Архиерей поблагодарил меня и сказал:

— Я был совершенно уверен, что под вашим водительством все у них будет в высшей степени благодатно и без каких-либо недоразумений.

С архиереями кто ж спорит? Я и не стал его разубеждать.

ДОРОЖНЫЕ СВЯТЦЫ

На обратном пути привернули в Лавру, и нас встретили так тепло, что пришлось ночевать. Грузовик мы загнали во двор. Сходили к Преподобному, показали водителю храмы, богослужение, и он, почти не выбиравшийся из лесной глуши, был потрясен до такой степени, что совсем перестал разговаривать.

Уезжали рано, поскольку дорога предстояла долгая, и уезжали с попутчиком: нам подсадили старика, который кем-то кому-то приходился, жил при каком-то южном монастыре, а теперь пустился в паломничество, желая лицезреть земли Северной Фиваиды.

— Но мы без остановок, без экскурсий, заезжать никуда не будем — к вечеру надо домой попасть.

— А ему и так хорошо, ему везде свято место.

— Куда, — спрашиваю, — старика потом девать-то?

— Не волнуйтесь: мы договоримся, кто-нибудь его у вас перехватит.

«Ну в крайнем случае, — думаю, — возьму к себе на приход — будет мне какой-никакой помощник».

Залезает он в кабину, а на ногах, смотрю, валеночки...

— Да как же, — интересуюсь, — он летом в валенках ходит — стопчутся ведь?

— А старчик, — говорят, — почти и не ходит — ноги у него сильно болят.

Ладно. Захлопнул дверь.

— Как, — спрашиваю, — зовут?

Он только улыбается. Стало быть, еще и не слышит. Кричу:

— Как вас зовут?

— Отец Симеон... Да, отец Симеон... Семен, короче.

— Так вы монах?

— Монах, монах... Пострижен давно... еще тайно, тогда нельзя было, я ведь инженером работал, это я теперь вот в подряснике...

Тут водитель впервые со вчерашнего вечера заговорил. Он сказал, что машина легкая и словно летит, а вот когда в Москву ехали с грузом досок, она была тяжелая и не летела... Доски эти, предназначенные для чьей-то дачи, выручили меня: я воспользовался оказией, чтобы захватить из Москвы книги и кое-какие вещи — все это тряслось теперь в кузове. А главное — лаврская братия снабдила меня алюминиевыми нательными крестиками: крестить приходилось до ста человек ежемесячно.

Отец Симеон тем временем начал что-то тихонечко напевать. Мы — свое, а он поет все громче, громче, и слышу я — это молебен преподобному Сергию Радонежскому. Присоединился, отслужили молебен. Без Евангелия, правда, потому что хоть и могли по памяти преподобническое прочитать, но в кабине не встанешь, а сидя, известное дело, неблагоговейно, а потому и непозволительно...

А старик дальше: тропари Никону, Михею и прочим Радонежским святым. Пел он так почти до Переславля-Залесского. Ненадолго притих, а в Переславле возобновился с другими угодниками Божиими. Пропели еще молебен святому благоверному князю Александру Невскому, который был крещен в этом славном селении. Дальше указатель: «До Ростова столько-то километров».

Стали поминать Ростовских святых: «Святителю отче Димитрие, моли Бога о нас», «Святителю отче Арсение, моли Бога о нас»... Многих вспомнили. Поворот на Борисоглебское. Тут, понятное дело, помолились князьям-страстотерпцам и, конечно, преподобному Иринарху.

Засим — Ярославль с Ярославом Мудрым. Причем в эту пору почитание знаменитого князя еще не было восстановлено, однако отец Симеон сообщил, что Ярослав Мудрый в синодальный период по какой-то несправедливости из месяцеслова выпал, но остался в Киевском патерике и в службе Торжества Православия, а потому непременно вернется в святцы. Через несколько лет именно так все и свершилось.

Вспомнили еще нескольких Ярославских святых, а потом пошло-поехало: то знак «река Обнора» — и все Обнорские, то «река Нурома» — и Нуромские, а заодно Комельские, Спасо-Каменские, Сянжемские... На всякий дорожный указатель у отца Симеона тропари, кондаки, величания, молитвы, а иной раз и молебны. Вологду прошли в песнопениях непрестанных и полногласных и завершили славлением преподобного Димитрия Прилуцкого.

Потом был небольшой перерыв. Водитель прошептал: «Ну, вы даете», — и более не вымолвил ни слова. Недолго мы ехали в тишине: у поворота на Тотьму начали вспоминать Тотемских святых и вспоминали, пока город не остался далеко позади. У села Маркуша спели преподобному Агапиту и наконец затихли. Я сказал, что следующим будет Христа ради юродивый Прокопий Устьянский, но до реки Устьи мы сегодня не доберемся.

А отец Симеон хотел помолиться еще Белоезерским, Кирилловским, Череповецким — целому сонму святых: «Потому что у нас, куда ни стань, везде свято место — земля такая».

Завернули в районный центр, и пока я ходил в магазин за продуктами, старый монах успел в валеночках своих дойти до почты и позвонить монастырским братиям, «чтобы обозначиться». Ночевали у меня в деревне.

Недолго, однако, радовался я своему диковинному постояльцу: утром примчался батюшка из соседней епархии, забрал отца Симеона, и отправились они далее по святой земле страдающего Отечества.

А водитель грузовика, встречая меня, всякий раз таинственно повторял:

— Все-таки мы тогда как-то странно ехали — машина летела, словно даже не касалась асфальта.

ЦЕНТР

Улица была чиста и пустынна — ни людей, ни автомобилей. Слева, за деревьями, виднелись остовы недостроенных и брошенных зданий, справа, вдоль тротуара, тянулась высоченная каменная стена с колючей проволокой по гребню. Белые буквы размером с человеческий рост были широко разбросаны по стене и на первый взгляд являли собою нечто загадочное и необъяснимое. Однако, присмотревшись и мысленно восстановив те, от которых никаких следов не осталось, можно было прочесть: «Наш труд — гарантия безопасности нашей Родины».

Стена прервалась ржавыми железными воротами и небольшой будочкой — проходной, на дверях которой висел замок. А дальше опять: те же полуистлевшие буквы и те же слова.

С левой стороны открылось здание усадебной архитектуры: желтого цвета, с белыми колоннами и под зеленой крышей — так в середине прошлого века красили строения особой государственной важности. Аллея из голубых елей преклонных лет, ухо-

дившая от главной улицы к зданию, добавляла картине торжественности и великолепия. И только клумба перед аллеей, поросшая репейником, нарушала возвышенную гармонию.

Наконец впереди показались двухэтажные домики — там следовало повернуть во дворы, миновать спортплощадку и отыскать нужный адрес. Дворы были такими уютными: под кронами старых берез и кленов кое-где совсем по-домашнему располагались столы со скамеечками, беседки. Правда, заметил я, что некоторые сооружения опасно кренились в разные стороны, а у одной ажурной беседки крыша и вовсе провалилась внутрь.

По металлической сетке, огораживавшей пустырь, я понял, что добрался до стадиона. И футбольное поле, и корты — все так густо заросло высокой травой, что конечно же совершенно не годилось для использования по назначению.

Дальше снова пошли дворы, и снова уютные.

В конце концов нашел я нужный мне дом и квартиру.

Дверь отворила маленькая, но весьма бодрая старушенция, которая была предупреждена о моем приходе. Разумеется, мы не узнали друг друга, да и не могли узнать: со времени нашего общения прошло около полувека, я тогда был юношей-старшеклассником, она — вполне еще молодой женщиной. Но стоило мне назвать имена нескольких общих знакомых из той поры, память ее встрепенулась:

— Погодите, погодите... Мы вместе ездили на турбазу Дома ученых, вы там ловили щук, и повариха готовила из них котлеты. Очень вкусные, между прочим, помните?.. Она добавляла в фарш морковь и капусту — я с тех пор рыбные котлеты точно так же готовлю... Потом отправились путешествовать по карьерам и рудникам — Петра Ивановича с его регалиями всюду пускали. Вы нашли тогда большой кристалл голубого топаза, правильно?.. Петр Иванович сказал, что образец — не для частной коллекции, передал находку в музей и зарегистрировал под вашим именем, так?.. Помню! Вы тогда еще много интересных камней нашли. Петенька говорил, что специально для того и пригласил вас, совершенно не сведущего в минералогии, дескать, новичкам везет... Вы, кстати, не стали коллекционером?.. И в геологию не пошли? Впрочем, что я спрашиваю, и так видно — одежда церковная... Погодите: а как вы попали в друзья к Петру Ивановичу, у вас ведь такая разница в возрасте?.. Ах, да: он с вашим старшим братом что-то там по работе общался, припоминаю...

Она щебетала и щебетала: рассказала, как Петр Иванович — ее драгоценный супруг — заболел, как она пыталась выходить его, когда у врачей опустились руки:

— Надо было бы сводить вас к Петеньке, но передвигаюсь я очень медленно, а кладбище далеко — боюсь, до вечера не успеем вернуться. Там у меня и первый муж... Делали особо чувствительную взрывчатку, и картонный стаканчик с этой взрывчаткой он передвинул по столу... После этого в технику безопасности ввели правило: поднимать стакан со взрывчаткой строго вертикально. И Петенькина первая жена — там же: умерла во время операции аппендицита. Остался маленький сын. И сразу вокруг Петра Ивановича одна барышня закрутилась: у нас ее не любили, называли Черной вдовой — паучиха такая есть. Когда мы с Петенькой расписались, она, конечно, отстала. Через год еще один ученый потерял жену во время простенькой операции, туда вдову и пристроили... А вскоре они уехали: ученый бросил науку и стал заниматься политикой...

Я не понял, каким образом роковая дама связана с незадачливой хирургией, и старушенция неохотно добавила, что здесь, в Центре, решались вопросы действительно мирового значения, потому он и привлекал к себе внимание могучих, хотя и не всегда видимых сил, о которых Петр Иванович говаривал: «из-под ковра», «из-под двойного ковра», «из-под чужого ковра», «из-под всех ковров сразу».

Потом пили чай с рябиновым вареньем.

— Петенька очень любил, а рябины у нас тут много. Хорошо еще лимон добавлять, однако у меня нынче без лимона, — и смущенно улыбнулась.

Я понял, что живет она бедственно. Спросил о пенсии.

— Мне хватает — жить можно: автолавка привозит продукты, аптечный киоск работает... Наука вот, к сожалению, прекращена, да и ученых почти не осталось: в нашем поселке всего один — высокий такой, ходит в шляпе, с тросточкой, в длинном пальто, мы его Чеховым называем. А в коттеджном поселке — не знаю, сохранился ли кто-нибудь. Мы ведь изначально селились именно здесь — рядом с институтом, потом построили коттеджи — они чуть подальше находятся. Но квартиры за нами оставили. А теперь все, кто жив, вернулись обратно — квартиру содержать легче и дешевле. Есть еще домики в низине, у водохранилища: там жили ученые, которые любили рыбалку — пока работал Центр, вода и зимой не замерзала. Но о том поселочке я давно уже никаких сведений не имею.

Она вновь вспомнила о временах пятидесятилетней давности и заметила, что тогда все известные ей люди — не только в Центре, но и по всей стране — занимались чем-то определенным:

— Один у Королева камеры сгорания проектировал, другой — у Туполева делал крыло, третий был известным поэтом, четвертый работал в антарктических экспедициях, подруга моя преподавала в консерватории. И это ведь не какая-нибудь богема: отец подруги был машинистом-паровозником — интереснейший человек, мы так любили слушать его... Все — разные, яркие, все — личности! А теперь, кого ни спроси — всё что-то компьютерное... Петенькин сын уехал в Америку — что-то компью-

терное, внуки — там же и тоже что-то компьютерное. А это, знаете ли, неинтересно совсем, скучно, безлико... Нас тут осталось полсотни старух да один Чехов. Почти у всех есть родня, но мы никуда отсюда не уезжаем — знаете, почему?.. Там, у вас, скучно... Мы привыкли к жизни другой, мы в летних отпусках всю страну с рюкзаками исходили, мужья наши могли на табуретке промышленный лазер собрать... Идемте, я покажу...

Мы зашли в квартиру напротив, причем ключ торчал в дверях, и старушка показала мне странную конструкцию, стоявшую, правда, не на одной, а на двух табуретках:

— Лазер. Делали с соседом подарок для школы. Не понадобилось — школу закрыли. Ученые пытались протестовать, сосед наш, а он лауреат Государственной премии, бунтовал пуще всех, но не хватило здоровья. Следом ушла и его супруга — она была учительницей литературы. Кстати: Петенька в эту школу и коллекцию минералов передал — все потом куда-то исчезло.

— А дверь, — спрашиваю, — почему не запираете?

— У них замечательная библиотека — наши бабушки иногда захаживают, книжки берут. Вот, взгляните...

Лист бумаги лежал на столе. Я прочитал: там было разными почерками записано, кто, когда, какую книгу взял, когда вернул...

— Ну а чужие люди?

— Чужих у нас нет и никогда не было: Центр охраняется так, что проникнуть сюда невозможно. А на ключ я закрываю от кошек.

— Зачем же, — спрашиваю, — вас так охраняют? Или вы до сих пор носители государственной тайны?

— Да какие там носители? Разве что Чехов... Охраняют не нас: охраняют рабочую зону — ту, что за высокой стеной... Ну, где написано: «Наш труд — гарантия безопасности нашей Родины». Правильно написано: гарантии больше нет... Мы повымрем, дома опустеют, а рабочую зону так и будут охранять...

Приближался вечер, мне следовало уходить, чтобы покинуть Центр до наступления ночного режима. Она отметила в моем пропуске время нашего расставания, указала более короткий путь к главному въезду и спросила:

— А каким образом вы вообще меня разыскали?

Я объяснил, что был в гостях у знакомого батюшки, тот сказал, что окормляет население Центра, я вспомнил о давнишнем путешествии на турбазу Дома ученых, и оказалось, что вдову дорогого мне Петра Ивановича батюшка знает и вполне может организовать встречу.

— Он добрый: он приходит нас хоронить, — похвалила моего собрата древняя старушенция.

Вышли мы через черный ход. У крыльца стояла старая «Волга» — с оленем на крышке капота. Та самая «Волга», на которой мы и катались полвека назад.

Петр Иванович, помнится, возил в багажнике запасные рессоры: машина до того перегружалась найденными образцами, что рессоры, случалось, и не выдерживали.

В соседнем доме играли «Баркаролу» из «Времен года» Чайковского. Окно первого этажа было открыто. Горела за окном настольная лампа под зеленым абажуром. Я остановился послушать. Играли неумело, неровно, с давно заученными неточностями и ошибками.

Выбрался на главную улицу я и впрямь быстро, однако совсем не там, где сворачивал во дворы, а чуть дальше — уже за рабочей зоной. Передо мной открылась долина, в глубине которой лежало водохранилище. Горизонт слабо освещался багровым закатом. Порывы ветра то и дело поднимали опавшую наземь листву, и листья подолгу кружились на фоне заката, словно воронье.

Неподалеку на тротуаре стояли двое мужчин. Один из них, высокий, был в длинном пальто, шляпе и с тросточкой — действительно, натуральный Антон Павлович. Второй — пониже, полноватый — с первого взгляда никакого великого писателя не напомнил. Оживленно жестикулируя, они о чем-то беседовали, и разговор их долетал до меня, но неразборчиво. Причем если Чехов размахивал двумя руками, то полноватый — только одной: другая рука придерживала велосипед. Они были так увлечены, что присутствия моего не заметили. Потом Чехов приподнял шляпу — вероятно, прощались — и пошел по улице вдаль, а второй сел на велосипед и по узкой асфальтированной дорожке укатил вниз, к водохранилищу.

Главный въезд я миновал вовремя. Знакомый батюшка встречал меня на машине.

СОВСЕМ НЕМНОГО ГЕОПОЛИТИКИ

Летели в Белград. Майор-десантник, сидевший у окна, время от времени приглашал заглянуть вниз:

— Военный аэродром, — и тыкал пальцем в стекло. — Пустой, брошенный...

Или:

— А здесь была ракетная батарея. Ничего не осталось, все разорено... И так до самой границы: ни перехватчиков, ни ракет — нас с вами даже сбить некому...

Майор был невесел: он только что похоронил однополчан, погибших в Чечне, и возвращался в Косово.

По другую руку от меня сидела дама — жена какого-то вельможи: тот провожал ее в аэропорту. Дама была очень ухоженна, однако в том уже возрасте, который всякой ухоженностью лишь подчерки-

вается. На коленях дама держала пластмассовую корзину, в которой безучастно ко всему пребывала лохматая собачонка. Даме хотелось поговорить, и она сказала:

— Это Пушоня.

— Скотный двор, — вещал майор, — пустой, брошенный...

— Может, все коровы куда-то попрятались, — предположила дама.

— Да он уж весь травою зарос, а поле вокруг него — кустарником.

— А как вы с такой высоты отличаете военный аэродром от гражданского? — Похоже, майор-десантник ее заинтересовал.

— Возле гражданского должен быть какой-то населенный пункт — хотя бы районный центр, а у военного — гарнизон: казармы да пара офицерских домов...

Дама вздохнула:

— Пушоня у меня заболел — везу его лечить...

— А что с ним? — насторожился майор.

— Меланхолия, — снова вздохнула дама.

— Не заразная, — успокоенно произнес майор и вдруг встрепенулся: — Так это ж не собачья болезнь!

— А чья же?

— Как чья? Коровья!

— Вы не правы: коровья — бруцеллез...

— Тоже и бруцеллез, — после некоторого раздумья согласился майор, — но главная: меланхолия, это я точно знаю: у меня брат — ветеринар... двоюродный...

Следует заметить, что, пока они так через меня беседовали, я читал подготовленный к изданию перевод проповедей известного сербского святителя. И до сего момента мне это почти удавалось.

— Все равно — меланхолия, — твердо сказала дама и схватила меня за локоть. — А знаете, отчего?..

Мы не знали. Оказалось, виною всему новый шкаф — с зеркальною дверцею до пола. Впервые увидев свое отражение в зеркале, Пушоня нежно обрадовался внезапному гостю и захотел познакомиться с ним поближе: заглянул за приоткрывшуюся дверцу да так и обмер.

— Знаете, собаке ведь надо сзади обнюхать...

Ну, об этом, положим, мы слышали.

— Он заглянул сзади, а там никого нет. Он — еще раз спереди: там собачка, а сзади — опять никого... Он еще пару раз туда-сюда — безрезультатно. И тогда он задумался, прямо как человек, взгляд стал таким умным и грустным, — дама вытаращила глаза, пытаясь изобразить собачью печаль и мудрость, — пошел прочь от этого шкафа, ударился мордочкой в стену и упал... А потом у него сделалась меланхолия: не ест, не пьет... Везу его к знаменитому профессору — крупнейший в мире специалист... Вы слышали: на выборах у них никто не победил, и теперь будет второй тур?

— Не будет, — пообещал майор. — Американцы проплатили только один тур, так что: кого назначат, тот президентом и станет.

Она отпустила мой локоть и не без кокетливости обратилась к майору:

— А вы, миротворцы, там, наверное, простой народ защищаете?

И тон ее, и сам вопрос десантнику не понравились.

— Мы там... обслуживаем американцев, — и отвернулся к окну.

В Белграде майора встречали наши военные в таких же, как у него, камуфляжных комбинезонах, даму — молодой человек с плакатом: «Меланхолия», а меня — двое монахов. Нам предстояло проехать триста пятьдесят километров к южным границам.

...До поздней ночи сидели над переводом, а утром в мою келью постучался иеромонах, и на колесном тракторочке мы поехали в горы. Небо на юге было исчерчено инверсионными следами, два самолета шли параллельными курсами.

— Здесь международная трасса, — пояснил провожатый.

Однако пассажирские самолеты парами не летают. Кроме того, следы повторяли изгиб границы: за богохранимой сербской землей велось пристальное наблюдение.

Трясясь на каменистых дорогах, мы пробирались от одного древнего храма к другому, и иеромонах рассказывал мне о русских священниках, служивших здесь и в двадцатые годы, и в сороковые, и в пятидесятые... Наконец приехали к малой церквушечке. Зашли, приложились к иконе, и иеромонах вышел, оставив меня одного. Когда-то мы с отцом настоятелем хотели устроить на этой горе русский скит, в котором могли бы жить и молиться наши иноки, однако теперь не то что русским — самим сербам здесь жить небезопасно: албанцы то и дело совершают набеги...

— Они стали селиться у нас полвека назад, — рассказывали монахи, — занимались торговлей, потом расплодились и говорят, что теперь наша страна должна принадлежать им... У вас албанцев нет?..

— Пожалуй, одних только албанцев у нас и нет, — отвечал я.

В обратный путь по каменьям возница отправился без меня — пожалел. Я спустился с горы пешком и пошел по шоссейке навстречу трактору. Кое-где на обочине лежало по три-четыре бетонные пирамидки метровой высоты — перекрывать дорогу в случае военных действий: снайпер с гранатометчиком, расположившиеся на противоположной стороне ущелья, смогут попридержать у такого заграждения вражескую колонну. Ненадолго, пока их не убьют.

Было жарко, хотелось искупаться, я свернул к реке, бежавшей рядом, и вдруг увидел в траве иконку: на меня смотрел Иоанн Предтеча... Сразу вспомнилось: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес-

ное». Это была простая бумажная иконка, закатанная в прозрачный пластик. Греческий текст на обороте с греческим же прямодушием призывал всякого читающего стать святым. Кто мог обронить ее здесь — непонятно: в этих краях давно уже не видали туристов.

Гул реактивных двигателей раскатывался по земле почти беспрерывно, а белых следов на небе становилось все больше и больше. Ветер дул с юга, и полосы проплывали над нами.

— Американцы, — признал наконец иеромонах, — вдоль границы летают, — и обвел рукой: — Косово, Македония, Болгария, Румыния... Была бы сейчас зенитная ракета — не удержался бы, — и вопросительно посмотрел на меня.

Я хорошо понимал его, но:

— Бодливой корове Бог рог не дает: потому-то, наверное, мы с тобой, брат, в Церкви, а не в ракетных войсках.

Вернулись к вечернему богослужению: по календарю совершалась память Иоанна Предтечи, икону которого я только что обрел в придорожной траве...

После службы собрались у отца настоятеля. Телефонная связь не работала. Принесли радиоприемник. Крутили-крутили колесико, но и сербские радиостанции, и российские, и немецкие, и французские, и американские передавали одни и те же сообщения и даже комментарии к ним — слово в слово, как будто написано все это было одной рукой.

— Нет ничего более тоталитарного, чем демократия, — грустно сказал настоятель.

Потом удалось по мобильному телефону поговорить с Белградом, и выяснилось, что в столице нет света, все подступы к ней заблокированы, аэропорт закрыт... Насельники тревожились за меня — мне ведь наутро следовало уезжать.

— За четыре месяца управитесь? Порядок наведете? — спросил я.

— Должны, — неуверенно отвечали отцы. — А почему — за четыре?

— У меня паспорт до февраля, — после того, как под праздник Иоанна Предтечи мне явилась его иконка, я ни о чем, кроме покаяния, не беспокоился.

Настоятель махнул рукой и выключил радиоприемник:

— Пошли молиться.

Служить мы закончили к шести часам утра: телефоны работали, лампочки по всей стране светили вволю, аэропорт открылся, блокаду сняли.

Я попросил у братии прощения: они конечно же сильно переволновались за меня.

— Для нас каждый русский — святой, — сказал отец настоятель, афонский монах, вернувшийся на родину в трудную для нее минуту.

Когда я садился в автобус «Скопье–Белград», крестьянин-серб спрашивал водителя, как дела в Македонии.

— В Македонии таких проблем быть не может, — отвечал водитель, — мы дружим с Западом, поэтому у нас спокойно и хорошо.

...К вечеру в центре Белграда началось столпотворение: десятки тысяч людей бродили по улицам и непрерывно дули в свистки вроде милицейских, а поскольку из-за шума разговаривать было невозможно, все еще и кричали. Сквозь толпу время от времени проползали автомобили, на крышах которых стояли и сидели люди с плакатами. Асфальт был усыпан листовками, названия улиц на домах заклеены победными лозунгами, а автомобильные номера — наклейками с датой выборов, на гигантских рекламных щитах всюду красовался портрет победителя. Тут поработала не одна типография. И не одну неделю. На спешно устанавливаемых эстрадах бесновались рок-музыканты, с лотков раздавали булочки, пиво, однако народ был на удивление трезв.

Встретилась только одна компания подвыпивших парней, но и те оказались земляками — футбольными болельщиками.

— Наши должны были играть с ними, а тут, отец, видишь, ерунда какая-то получилась, и матч перенесли... И чего они так радуются? Им ставят нового президента — незаконного, между прочим, он ведь и половины голосов не набрал, — а они, чудаки, радуются... Я — флотский, хотя не моряк, а речник: катаю по Москве-реке отдыхающих, — но я так понимаю...

Далее флотский не вполне складно, но достаточно вразумительно объяснил, что для открывания кингстонов нужны были предатели-грубияны: «ну, пьянь там, до денег жадные, до власти, просто дураки», а теперь — грамотные и осторожные рулевые, которые могли бы удержать тонущий корабль в вертикальном положении и не уронить его на соседние баржи и шлюпки...

— Что у них, что у нас, — заключил он, махнув рукой.

Утром в аэропорту я увидел знакомую даму: она шла через зал, влача за собой Пушоню.

— Как успехи? — спрашиваю.

— Один сеанс провели, наметилось улучшение, — отвечала она, — но профессор из-за этого кризиса срочно улетел в Штаты — основная клиника у него там. Позвонила мужу — он уже перевел в Америку деньги. Так что мы отправляемся следом. Заодно повидаем дочку с внуком... Мы, правда, собирались вместе встречать Миллениум — то есть новое тысячелетие, но раз уж такой случай — почему не воспользоваться?..

Наклонив голову, она улыбнулась:

— Поздравляю вас...

— С чем?

— С победой великой октябрьской капиталистической революции, — и кокетливо подмигнула. — Мир стал свободнее на одну страну...

...Случилось так, что ровно через год я снова оказался в Белграде. Был объявлен великий праздник: по телевидению выступали заматеревшие победители, прославляли себя, свободу слова и права человека. В центре города снова гремели оркестры, однако гуляющего народа было теперь значительно меньше. Работали американские забегаловки, с лотков продавали американские фильмы, а в Македонии шла война.

Прошлогодний шофер явно не был пророком, и Дух Святой не глаголал через него.

ГОНКИ

В середине девяностых годов, когда страна наша переживала очередные бедствия, один прихожанин решил возразить течению обстоятельств. Подошел после службы, а дело происходило в зимний праздник святителя Николая, и говорит:

— Давайте на Рождество устроим для детей что-нибудь грандиозное.

Я полагал, что речь идет о воскресной школе, где мы по обычаю проводили детские утренники и концерты, и поинтересовался, каким образом он собирается придать грандиозность столь скромным, хотя и чрезвычайно радостным, действиям. Оказалось, однако, что я совершенно не представлял масштабов этого замысла.

— Надо провести соревнования. Настоящие, каких давно уже никто не проводит. Вот сейчас, к примеру, самый подходящий сезон для автогонок на льду. Собрать ребятишек отовсюду, где еще сохранились карты — ну, маленькие машинки такие. А то обидно — детский спорт теперь никому не нужен...

Прихожанин этот был морским офицером запаса, прежде служил на учебном судне и до сей поры не утратил притяжения к воспитательной деятельности. Сейчас у него никаких плавсредств не было и приходилось изворачиваться на сухопутном поприще. Я не имел опыта организации подобных ристалищ, совершенно не представлял, что из этого замысла должно получиться, но к неожиданности моей диковинное предприятие стало разворачиваться легко и складно.

На окраине Москвы нашли заброшенный стадион, выкупленный под строительство жилого дома, взяли разрешение у хозяина, залили беговые дорожки, оповестили все подмосковные города, и на Святках событие действительно состоялось.

Еще затемно к стадиону стали съезжаться грузовики с маленькими машинками в кузовах. Карты вытаскивали, опускали на снег и начинали греть моторы — трескотня стояла значительная. Возле машин бродили сосредоточенные мальчишки-гонщики.

— Всё по высшему классу, — заверял прихожанин, — даже медслужба есть, — и указал на «Москвич», в котором сидела женщина весьма уважительных лет, — между прочим, профессор, доктор наук, проректор медицинского института.

— Где ж ты ее раздобыл? — спрашиваю.

— В соседнем подъезде. Сразу согласилась. «Тревожный чемоданчик» собрала, предупредила ближайшую поликлинику, больницу, станцию «скорой помощи» — у нее же везде бывшие ученики... А еще двух мастеров спорта нашел — чемпионы Союза. Привезли флаг клетчатый: «старт», «финиш» махать — в гонках без такого флага никак нельзя. Они вообще ребята предусмотрительные. — Всю полноту последней фразы я в тот момент не оценил.

Сначала взрослые чемпионы обкатали трассу — качество льда их устроило. Затем они же сказали напутственные слова. Мы с прихожанином пропели «Царю небесный», и началось... Уже не трескотня, а вой моторов, ледовая крошка — ураганом из-под острых шипов. После заездов — награждения: морской офицер вручал кубки, которые не успел израсходовать в прежние воспитательские времена, я дарил «Закон Божий», а один из мастеров раздавал модельки автомобилей. Он, оказывается, собирал их всю жизнь, а тут вдруг по причине внезапно нахлынувших соревнований в клочья растерзал грех мшелоимства.

Потом мальчишки-гонщики набились в микроавтобус, где докторша поила их чаем из термосов и кормила пирожками собственной выпечки. Ну а мы с прихожанином и двумя предусмотрительными чемпионами грелись в машине, сокрушаясь по российскому обыкновению о бедах Отечества: и то, дескать, нехорошо, и это плохо...

Наконец, исчерпав невзгоды, сошлись во мнении, что на «ход поршней» они особо не повлияют, а значит, опять прорвемся. «Ежели только с Божьей помощью», — уточнил морской офицер. «Это само собой», — подтвердили два чемпиона.

НЕСЛУЧАЙНОСТЬ ВСЕГО

В жизни каждого взрослого человека легко отыщутся два-три случая, которые иначе как чудесными совпадениями не назовешь. Их может быть и более, но, конечно, не слишком много, дабы от избыточности впечатлений человек не потерял душевного равновесия и не лишился рассудка.

Иногда нам удается истолковывать смысл, значение или предназначение таковых совпадений, чаще же они остаются загадкой, которая время от времени тревожит наше сознание, требуя ответа, но так и не получая его.

Повествования об этих чудесных случаях мне доводилось слышать от множества — возможно, от со-

тен — людей, однако, не дерзая посягать на их личное достояние, расскажу немного о том, с чем сталкивался сам: этого богатства и у меня в достатке. И все прибывает...

На днях пригласили освятить одно из отделений большой больницы. Спрашиваю:

— Тридцать второе?

— А откуда вы знаете?

Юношей я собирался поступать в медицинский институт и работал в этом отделении санитаром. И вот снова попадаю сюда. Зачем — не ведаю, однако не удивляюсь: это из разряда совпадений обыкновенных, частых. Скажем, некогда издательство, в котором мне довелось трудиться, получило помещение в новом доме на Хорошевке. Спрашиваю:

— Номер дома — случаем, не шестьдесят два?

— Как вы угадали?

Просто: по этому адресу я прожил двадцать пять лет. Но тот дом сломали, людей выселили на другие концы Москвы, и вот теперь я возвратился к знакомой школе, к деревьям, некогда посаженным моим отцом.

Ива теперь оказалась у самой дороги. Тысячи людей проходят и проезжают мимо нее каждый день, и никто не ведает, что полвека назад мы с отцом привезли из Серебряного бора тоненький прутик и воткнули его в самом низком месте двора — у водосточной решетки. Давно нет моего отца, нет той решетки, нет уже и самого двора, как нет двухэтажных домишек, построенных пленными немцами... Огромные здания, а между ними — старая ива.

Далеко за спиной это время, далеко в прошлом мирские труды и мечтания. Несколько лет уже я служу в храме, прихожанином которого, как выяснилось недавно, некогда был мой прапрадед. Здесь он молился, причащался, он и жил здесь — в доме священника. И ходил по тем же самым ступеням, которые теперь истираю я. Но и это не все: однажды со вполне досужими интересами я забрался в глухой район на севере Вологодской области. Приобрел избушку, рыбачил, охотился. Помогал восстанавливать разоренный собор, стал священником и отслужил там четыре года. Впоследствии обнаружилось, что именно из этой глуши прибыли в Москву мои старинные предки. Правда, в ту пору земли тамошние были не заброшенными, а процветающими, но речь о другом: мне стало ясно, что если бы я по своему произволению переселился на какой-нибудь остров в океане, то и там отыскалась бы могилка четвероюродной бабушки.

Не ведаю, что означает каждое из этих совпадений по отдельности и означает ли что-либо вообще, однако, взятые вместе, они навевают мысль о том, что целые фамилии из поколения в поколение живут, словно привязанные к колышку. И как бы далеко ни забредали мы в своих исканиях и дерзаниях, нас время от времени возвращают к этому колышку. Для смирения, может быть. Чтобы напомнить: кто мы, откуда мы и где живем — на земле то есть, под луной и под солнцем, где нет и не может быть ничего нового.

«Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но *это* было уже в веках, бывших прежде нас», — сказал Екклезиаст.

УКАЗАНИЕ

Т.Б.

Хоронили старушку. Зимой. Кладбище старое, тесное, между оградками не протиснешься. Худощавые рабочие пролезли еще к могиле, а полнокровный бригадир стоял возле нас, на асфальтированной дорожке. Народу было немного — человек десять. Это вместе со мной и тремя певчими. Служим, а я думаю: как же гроб-то через эти узкости тащить? Да и вообще: для чего оградки существуют? На новых кладбищах их нет, на старинных — тоже, когда ж все это уродство появилось? В двадцатом веке, наверное... Частокол из металлических прутьев, крашенных преимущественно голубой и серебряной краской. Разве что нашему брату удобно — есть куда кадило повесить, оно всегда под рукой.

Пожилая родственница тяжко вздыхает:

— Тесно у вас тут в Москве, — вероятно, приезжая, — в метро — толкучка, в магазинах — толкучка, и покойники — в эдакой-то тесноте...

У певчих — пар изо рта, усы и брови заиндевели. Певчие стараются: один из них — внук старушки, и приятели, не щадя глоток, по-братски поддерживают его. «Со святыми упокой...» Снимаю с ближайшей оградки кадило и только теперь замечаю на камне за прутьями знакомое имя...

Я ведь крестил эту женщину. Лет пятнадцать назад. И было ей тогда немного за сорок. Как-то раз еще она приходила исповедоваться и причащаться. А потом меня перевели на другой приход, и я больше не видел ее и ничего не слышал о ней...

Бригадир шепчет сзади:

— Долго еще?

— Пять минут, — отвечаю не оборачиваясь.

Я понимаю, что он замерз, и работяги замерзли, и провожающим невмоготу: они притопывают ногами, словно пританцовывают на месте. А певчие — хоть бы что: голосят себе, да так чисто, так проникновенно. Я предлагал отпеть у нас в храме, но событие происходило на другом конце города, ехать к нам было очень уж далеко, а проситься к кому-то еще они не захотели.

Вот и всё: бригадир вколачивает гвозди и зовет худощавых. Воздев гроб над головами на вытянутых руках, они медленно продираются между оградками...

Оказывается, она уже третий год обитает здесь... Рядом со своим отцом: он был писателем, довольно известным в сороковые–пятидесятые годы. Наверняка лауреат главной тогдашней премии. Здесь же и мать... Помнится, ни мужа, ни детей у моей знакомой никогда не было... Выходит, что у нее вообще никого не осталось? И кто же о ней теперь помолится? Тем более что окружение у нее было совсем не церковным... А то и не православным... Может статься, я один только и ведаю о ее крещении. Но тогда получается, что на всей земле, кроме меня, за нее действительно некому помолиться...

Мы ведь могли служить отпевание чуть сзади или чуть впереди, и я бы повесил кадило на другую оградку... Но остановились, а точнее, были остановлены — именно здесь, потому что, понятное дело, нехорошо, если за крещеного человека некому помолиться. Совсем некому...

С тех пор я и поминаю ее. Неукоснительно.

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Схиархимандриту М.

Случается, самые обыкновенные фразы, сказанные по пустякам, становятся, что называется, учительными. Важен момент, в который произносятся эти простые и, быть может, неинтересные фразы. Если момент подходящий, то и расхожие слова, употребляемые нами по нескольку раз на дню, могут обрести особый смысл и даже вызвать некие, более или менее содержательные, размышления. А вот удобоприменительность момента — вопрос загадочный и легковесному объяснению не подлежит. Тут уж все как получится...

Однажды, второго февраля, мы отмечали у отца архимандрита очередную годовщину Сталинградской битвы, в которой он принимал самое героическое участие. Батюшка был известен крайней строгостью по отношению к себе и безграничной доброжелательностью ко всем остальным людям. Его уже донимали всякие немощи, так что из кельи он выходил редко, разве только на службу иногда: помолиться со всеми, причаститься... Жил, можно сказать, в молитвенном уединении. Но Сталинградскую победу отмечал неуклонно. И всякий, кто помнил, что именно произошло второго февраля сорок третьего года, мог зайти к нему. Празднование совершалось в полном согласии с традицией, начало которой, как мы понимали, было положено еще на передовой. Каждому вручались две мятые алюминиевые крышки от термосов: в одной — сто не сто, но граммов пятьдесят фронтовых, в другой — специально приготовленная закуска: зеленый горошек в собственном соку, перемешанный с мелко нарезанным соленым огурчиком. Мы выпивали крышечку «за Победу!», подкреплялись кулинарным изыском, и пиршество завершалось. Хозяин кельи в этом занятии не участвовал по привычной склонности к аскетизму. Да тут еще присоединился к нему молоденький пономарь, пришедший с одним из священников: он строго отверг предложение и взирал на все с видимой осудительностью.

Рассказывать про войну отец архимандрит не любил:

— А чего там рассказывать? Наступаем, отступаем, окапываемся. Опять наступаем. Того убило, этого ранило. Того похоронили, этого — в госпиталь. Другого убило, меня ранило. Его похоронили, меня — в госпиталь. Подлечили — опять: наступаем, отступаем, окапываемся. Война — дело неинтересное, — и улыбался.

Обычно такие встречи проходили в разговорах о всяких церковных новостях: где чего построили, кого куда перевели по службе, но тут батюшка вдруг спросил, а из нас-то кто-нибудь бывал в Сталинграде? Оказалось, что, кроме меня, никто.

— В какие, — спрашивает, — времена? Наверное, Волгоградом назывался уже?

— В начале пятидесятых, — говорю, — самый что ни на есть Сталинград.

И ему, не видавшему город с февраля сорок третьего, стало так занимательно, что он потребовал от меня полного описания.

Мы с отцом плыли тогда по Волге на пароходишке — еще колесном: в ту пору по Волге ходило немало таких судов, на плаву был даже «Яхонт» — реликвия с кормовым колесом. А буксиры так почти все были колесными: знаменитые черно-рыжие, непомерно широкие, из-за выпирающих по бортам колес.

Сталинград спешно восстанавливался, была уже построена парадная лестница на берегу Волги, над развалинами тут и там поднимались дома. Ходил трамвай. Мы доехали до Мамаева кургана и взобрались на него. Курган был усыпан позеленевшими гильзами. Я насобирал их, а отец, просмотрев, выбросил все немецкие: «Может, пулями из этих гильз убило кого-то из наших». Всюду по сторонам виднелись могильные холмики: где с жестяной звездой, где с табличкой, а где и без ничего. Местами в траве белели россыпи костяного крошева...

Другой батюшка рассказал, что один из его родственников — дядька, что ли — был ранен под Сталинградом и потерял ногу. И просил, если кто окажется в тех краях, поискать — может, найдется, а то протез ему надоел.

Отец архимандрит слушал с почтительной благодарностью, воспринимая наши истории как подарки, как посильное приношение к празднику. Приношение Сталинграду.

Тут я вспомнил еще рассказы матери: с выездной редакцией «Комсомолки» она попала в Сталинград вскоре после освобождения. Надо было налаживать

выпуск газеты и одновременно заниматься детьми: в городе оказалось неожиданно много детей — тысячи детей, загадочным образом переживших зиму на линии фронта. Когда прошлым летом ребятишек собрали на берегу и начали перевозить через Волгу, немцы старательно разбомбили переполненную баржу с красным крестом. Жуткое это событие нарушило план, и ребятишки порасползались. И вот теперь их собирали, откармливали, лечили. Для самых мелких — «детские сады»: выберут среди развалин место поровнее, посадят человек двадцать в перевернутые немецкие каски, а над всем — девушка-боец с автоматом. Она — и воспитатель, и заведующая, и завхоз, и охранник. Днем солдаты приносят еду, а на ночь малышей укрывают в ближайшем подвале: там есть тюфяки, одеяла и печка-буржуйка.

Летом на другом берегу Волги устроили пионерский лагерь — дети жили в шатровых солдатских палатках. Для развлечения и боевой подготовки то и дело проводились военные игры. Как-то заметили, что один парнишка уклоняется от военных игр, и пристыдили его, обвинив в трусости. В ответ он неохотно предъявил медаль «За отвагу» и сказал, что с деревянным автоматом бегать не будет, ну а если понадобится, сможет и оборону организовать, и наступление. Сообщили военруку-инвалиду. Тот пришел, побеседовал и велел отрока больше не трогать: «Свой парень — фронтовик», — но при этом выглядел заметно встревоженным. Той же ночью оба фронтовика по-разведчески незаметно пробрались за территорию лагеря, и мальчонка сдал свой тайник — до утра топили в реке пистолеты, гранаты, боеприпасы, с помощью которых и предполагалось организовывать хоть оборону, хоть наступление.

А первого сентября открыли первую школу: ремонт закончили только к утру, сильно пахло сырой штукатуркой. Присланная из Москвы молоденькая учительница начала урок. Она торжественно поздравила всех с разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом, с открытием первой школы, с началом учебного года, а потом стала называть фамилии учеников и расспрашивать о родителях. Дети отвечали: «Отец погиб на войне, мать угнана в Германию... Отец погиб на войне, мать убита в бомбежку... погиб... убита... убит...» Учительница выбежала в коридор и, прижавшись лицом и всем телом к не высохшей еще стене, даже не зарыдала, а завыла — истошно, пронзительно. Девушки-штукатуры, стоявшие у дверей, тоже плакали. А когда вышедшие из класса ученики стали всех успокаивать, завыли и девушки, и общий вой достиг какой-то невероятной силы и высоты. Учительница, перемазанная в штукатурке, обессиленно сползла на пол. В конце концов ребята всех успокоили, взрослые вытерли слезы, отмыли учительницу, и занятия благополучно продолжились. Вот, собственно, и все, что я мог рассказать...

Мы уже пили чай. Тут-то и прозвучали необременительные слова, которые для присутствовавших гостей, — исключая, пожалуй, пономаря, — стали уроком. Казалось бы: после таких бесед — и совсем пустой лепет... А вот поди ж ты!

Батюшка, как всегда в этот день, предложил овсяное печенье — оно напоминало ему какие-то галеты военной поры. Строгий молодой человек сказал укорительно:

— В постные дни — не ем.

А была не то среда, не то пятница.

— Почему? — робко спросил хозяин.

— У нас его продают в коробках, а на коробках написано, что в состав входит яичный порошок, потому и не ем.

Батюшка улыбнулся и тихо сказал:

— А у нас его продают в пакетах, и на пакетах ничего не написано, так что я — ем.

Вот и все простые слова.

Через несколько дней отец архимандрит принял схиму. А юноша с отличием окончил семинарию и стал священником. Служил на одном приходе, на другом, на третьем, теперь, кажется, на пятом или шестом: ни с кем не уживается, всех поучает, и всё у него как-то внешне, внешне...

А мы, тогдашние гости, при случае любим угостить друг друга овсяным печеньем и всякий раз вспоминаем: «на пакетах ничего не написано, так что я — ем».

ФИНАЛ ШЕСТОЙ СИМФОНИИ

Причащал тяжкоболящую.

Бывшая скрипачка. Мы познакомились много лет назад, когда прихожане отвоевывали храм, в котором размещалась администрация оркестра. Женщина эта кричала тогда, что музыканты — люди высочайшей культуры — несколько десятилетий охраняли «исторический памятник», и потому он по праву принадлежит только им, а мы все можем испортить: закоптить стены свечками, а полы затоптать грязными башмаками.

Это как если бы у человека, жестоко избитого и брошенного помирать, забрали все ценное «ради сбережения», а когда человек пришел в себя, возвращать ему ничего не стали, говоря, что он, дескать, может все это использовать без достаточного разумения, а то и вовсе порастеряет.

Да и насчет «охранения» и «высочайшей культуры»... В главном алтаре был кабинет художественного руководителя, в боковых приделах — туалеты.

Храм с Божией помощью отвоевали, а женщину эту я с тех пор не видал. И тут она через кого-то разыскала меня, попросила принять первую исповедь и причастить.

Мы с ней о чем только не переговорили — всего и не упомню уже, но одно обстоятельство ее бытия произвело на меня значительное впечатление. Музыкантша утверждала, что своим приближением к вере обязана... Петру Ильичу Чайковскому. Точнее: финалу Шестой симфонии композитора.

— Вы ведь, наверное, знаете, он называл эту симфонию «Жизнь». Обычно мы исполняли четвертую часть как похоронную, погребальную, а тут вдруг я впервые обратила внимание на разговорную интонацию некоторых музыкальных фраз. У Чайковского это бывает, ведь он любил слово и прекрасно чувствовал его: написал столько опер, множество романсов, «Всенощное бдение», «Литургию», а для нескольких своих произведений сам сочинил стихи. И за основной мелодией финала я услышала: «Помилуй меня. Помилуй меня. Помилуй, помилуй, прости и помилуй»... Будьте любезны, дайте мне скрипку... Она вон там — в кресле...

Я достал инструмент и смычок из футляра и передал хозяйке. Не поднимаясь с подушки, она подстроила скрипочку и наиграла мелодию:

— Слышите?.. «Помилуй меня. Помилуй меня. Помилуй, помилуй, прости и помилуй»...

— Похоже, — вынужден был согласиться я.

— А начало финала, две фразы... «Боже, меня прости! Боже, меня помилуй!» Вслушайтесь: интонационно — это подражание разговорной речи... Весь финал — мольба, моление... потрясающей искренности и глубины покаяние Петра Ильича Чайковского... Может, кто-то где-то об этом писал — не знаю, не читала. Но как только сквозь музыку проступили слова, жизнь моя будто перевернулась... с головы на ноги. Мне осталось уже совсем немного... К сожалению, читать молитвы я не могу — не вижу, выучить их не сподобилась — не успела, так что «проигрываю» в памяти четвертую часть и повторяю: «Помилуй меня. Помилуй меня. Помилуй, помилуй, прости и помилуй!» И звучит эта музыка во мне совсем не так, как мы играли: не загробная она, а покаянная...

С тех пор и я, слушая финал Шестой симфонии, угадываю знакомые молитвенные слова: «Помилуй меня. Помилуй меня. Помилуй, помилуй, прости и помилуй!»...

ДЕБАРКАДЕР

Перегоняли дебаркадер — из одной протоки в другую. На нем много лет размещалась рыболовно-охотничья база, но рыбы в ближайшей округе совсем не стало, и пришлось перебираться на другой банк: банками здесь называют самые большие протоки, выходящие непосредственно в Каспий.

На время события прием гостей был приостановлен — дебаркадер оставался без электричества, а значит — совсем без комфорта, однако меня это обстоятельство не смутило, и я напросился в плавание. Предполагалось, что оно будет кратким и ночевать придется уже на новом месте. Начальником моим был назначен механик, оставшийся для присмотра за сооружением.

Подошел буксир, зацепил тросом, потом от старых деревьев отвязали канаты, удерживавшие дебаркадер у клочка земли, и началось путешествие. Был конец лета, день тихий и солнечный. Мы с механиком сидели в пластмассовых креслах на палубе, нас обдувал ветерок, и ни мошка, ни комары не мешали.

Пролетела байда — десятиметровая стальная ладья с двумя подвесными моторами по двести сил каждый. Вся в воздухе, только корма воды касается, носовые обводы узкие, как стилет.

— Бракаши, — сказал механик, — в море пошли — проверять сети.

Да я и сам знал, что эти гоночные морские лодки — транспорт исключительно браконьерский: пустое металлическое корыто, разве что стлани на дне.

Обсудили с механиком, как изменился беззаконный промысел за полвека. Тогда осетровых добывали выше Астрахани — в речных протоках: брали только икру — от рыбы сразу же избавлялись. Бывало, на рассвете забросишь удочки, а мимо проплывают осетры с распоротыми животами. Браконьерами в те времена правили хронические уголовники.

Теперь все иначе: рыбу добывают в море на большой глубине, и через преграду из морских сетей пробиваются разве что единицы. Икры нет, поскольку вылавливается уже молодняк — недоросли. А командуют этим занятием государственные мужи с достославными биографиями. Случается иногда, что байды вместе с рулевыми пропадают бесследно, но недоразумения такого рода происходят конечно же исключительно из-за стихии, а вовсе не оттого, что чиновники не поделили акваторию Каспия.

Только закончили горестную беседу, как дебаркадер влетел на мель — мы даже с кресел попадали. Буксир дернул раз, другой — не сползаем. Что-то кричали механику, что-то кричал он сам, между тем течение стало разворачивать плавучую нашу гостиницу и развернуло так, что корма уперлась в противоположный берег — протока была перекрыта.

— Расклинило... или заклинило... не знаю даже, как правильнее сказать, — оценил ситуацию механик.

Высвободили трос, буксир причалил к нам бортом и попытался вернуть дебаркадер в прежнее положение. Течение не позволило. Решили, что толкать надобно другим бортом, перешвартовались — и вновь без всякого результата. Потом надумали размывать берег потоком воды от работающего винта. Как будто заладилось. Но стало темнеть, а заниматься в потемках столь кропотливым делом было опасно, и потому, заглушив двигатель, собрались в крохотном кубрике буксира: мы с механиком и капитан

с матросом. Вскипятили чай, и капитан спрашивает меня:

— Знаете на Волге городок Плёс?

— Разумеется, — говорю, — и даже бывал там.

— Место, где мы засели, на старых лоциях тоже именуется Плёс, в честь того городка, стало быть.

Я заметил, что между красотой знаменитого Плёса и однообразием окружавшего нас тростника мало общего.

И капитан рассказал, что до строительства плотин Волга была далеко не столь полноводной, а самым трудным для судоходства участком испокон века считался Плёс: фарватер уж очень извилистый. Бурлакам приходилось пускаться вплавь со своими веревками: то вдоль одного берега барку тащат, то вдоль другого. В засушливое лето река мелела, и для того, чтобы благополучно провести барки, их приходилось разгружать до необходимого уровня. Тогда в городок стали съезжаться скупщики, приобретавшие сброшенные товары по низкой цене. Так возникло местное купеческое сословие.

С появлением пароходов преодолевать этот участок легче не стало: баржи проводились не караванами, а по одной, остальные стояли в долгой очереди.

И вот старинные речники из тех, что знали Волгу до самого верха, с некоторой, наверное, иронией прозвали это местечко Плёсом: фарватер здесь тоже гулял от берега к берегу, отмели то появлялись, то исчезали, и разные суденышки успели претерпеть множество бедствий. С купечеством, правда, вышла совершенная незадача — селиться негде: тростники и вода. Да и живописцы что-то не вдохновились.

В середине двадцатого века стали углублять дно земснарядами, проделывая рыбоходные каналы до каспийских глубин.

— Рыбы тогда было — шквал! — сказал капитан.

Я хорошо помнил стандартный сюжет киножурналов «Новости дня», которые шли перед каждым сеансом в каждом кинотеатре страны: рыбаки вытягивают невод с сотнями осетров, и обязательно — белугу невообразимых размеров.

В те времена фарватер выпрямили, и прибывшее с верхов название бесследно пропало. Но потом, когда всякая полезная деятельность в стране прекратилась, подводные углубления затянулись илом, песком, и Плёс явился из небытия.

Чай мы пили в гостях, а ночевать отправились на родной дебаркадер. В каютах, обращенных вверх по течению, зажгли несколько свечей, чтобы окна светились, снизу стоял буксир со всеми положенными настоящему судну огнями. И, значит, не заметить нас было нельзя. Конечно, байды иногда управляются электронными навигаторами и летают в кромешной тьме, словно днем, а если на пути попадется какая-нибудь моторка — разрубят и не остановятся, но буксир — не моторка, а уж дебаркадер — тем более.

Однако ночью нас никто не побеспокоил. На рассвете опять взялись размывать берег и к полудню размыли: течение повернуло дебаркадер, после чего буксир снял его с мели. Но теперь то, что было кормой, стало носом, а бывший нос превратился в корму. Пришлось перетащить кресла.

Дальнейшее плавание протекало благополучно. Правда, на одном повороте зацепили тросом упавшее дерево, но не стали останавливаться, чтобы избавиться от него, а так и поволокли: временами трос провисал, и дерево ветвями скреблось по речному дну.

Сколько ж всяких сетей привезли мы к месту стоянки! Правда, рыбы в сетях не было — только дохлые бакланы, запутавшиеся при нырянии. Зацепили и несколько мощных шнуров с огромными железными крючьями — простейшая браконьерская снасть: укладывается поперек реки, и осетры, ползающие по дну в поисках пропитания, напарываются на крючья. В старые времена называлась перетягою, а теперь, для конспирации, просто снасть.

Ткнули нас к малому клочочку земли, привязали канатами за деревья, установили на берегу генератор, включили ток — и дебаркадер стал оживать. Потом егеря понавезли столичных рыболовов-любителей, мы начали спешно осваивать незнакомые угодья, но как-то впустую...

— И на этом банке рыбы не стало, — вздохнул механик, — надо было раньше переезжать, года три-четыре назад — тогда здесь неплохо ловилась. — Помолчал и снова вздохнул: — Дебаркадер наш был когда-то брандвахтой икорно-балычного комбината — что-то вроде общежития при плавучем заводе. Комбината этого давно нет, потому что делать ему совсем нечего... Детям, пожалуй, еще чего-то перепадет... ну, внукам маленько достанется, а вот правнуки, наверное, рыбы уже не увидят.

ЖЕНСКОЕ СВОЙСТВО

Мы проводили целые дни на моторках в поисках рыбы, а встречались только за обедом и ужином. Обычно они слегка опаздывали, но деликатно, совсем немного.

Первым в кают-компанию заходил глава семейства: коренастый мужчина преклонных лет. Следом — супруга под стать ему: невысокая, крепенькая, такая же серебристо-седая. За ними — зять, дочка, подруга дочери и, наконец, муж подруги. Все поочередно желали мне приятного аппетита и чинно рассаживались.

Старики ели не поднимая глаз, молча, сосредоточенно. Вилками и ложками действовали в столь единодушном согласии, что последний глоток чая получался у них одновременно. Промокнув губы салфеткой, они вставали и, пожелав оставшимся

приятного аппетита или спокойной ночи, уходили в каюту.

У зятя то и дело звонил телефон, и начинался интереснейший разговор о тонкостях исполнения фортепианных пьес Гуммеля, Франка, Герольда, Филда и еще каких-то композиторов, о которых я прежде слыхом не слыхивал. Добиваясь нужной нюансировки, зять напевал отдельные музыкальные фразы, повторяя их неоднократно. Похоже, он был преподавателем серьезного заведения.

Третий мужчина был тих, молчалив и малозаметен. Зато подружки болтали безостановочно.

Их разговоры позволили мне предположить, что вся компания, за исключением, пожалуй, музыканта, знакома по жизни в каком-то закрытом городе. Несколько лет назад отец — человек явно авторитетный — переехал с семьей в Москву, где дочь его вышла замуж. Подружка оставалась на прежнем месте, а ее благоверный занимался там же чем-то компьютерным. И вот они съехались, чтобы отдохнуть в дельте Волги на маленьком теплоходе, переделанном из речного трамвайчика: теперь в нем были каюты. И новообращенная москвичка без устали выясняла про общих знакомых:

— А Танька Романова как?

— Нормально. Муж — компьютерщик, двое детей.

— А Милка Девяткина?

— Ходит к ней пожилой мужичок...

— Постоянный?

— Даже не знаю. Вот Катька Сухоцкая мается: то один, то другой, то третий — и все без толку, не везет. И девка красивая...

— Не располнела?

— Пока в форме — сорок шестой размер.

Беседы эти текли и текли за каждой трапезой: «А Нинка?.. А Лариска?.. А Райка?..»

Иногда воспоминания усложнялись:

— А эту помнишь: до седьмого училась у нас, а потом перешла в другую школу? Забыла, как ее...

— У которой в первом классе был голубой бант?

— Не голубой — бирюзовый.

— Ну, бирюзовый, в крупную клетку, да?.. Любаша Тихонова. По мужу — Пенькова. Развелись — пил страшно. Теперь одна сынишку воспитывает.

Однажды жена музыканта стала рассказывать, как они ездили в Австрию слушать разных замечательных исполнителей.

— А ностальгией ты не страдала? — поинтересовалась подруга.

И тут впервые к разговору присоединился отец семейства:

— Ностальгия, барышни, это мужское свойство, — сказал он, не поднимая глаз от рыбной котлеты.

— А наше — что? — спросила дочка с детской кокетливостью.

— Ваше — замуж.

— И всё?

— Замуж, замуж и замуж, иначе вы как собачонки бесхозные.

— А рожать детей? — присоединилась подруга.

— Дело хорошее, но сперва — замуж.

— Некоторые женщины утверждают, что и без мужей им вполне комфортно, — продолжала подруга.

— Врут или нездоровы.

Жена его никак не реагировала на происходящее — даже бровью не повела. Закончив ужин, по обычаю, одновременно, они пожелали всем доброй ночи и, не поднимая взоров, ушли.

Капитан теплохода был моим давнишним приятелем — я знавал его еще молодым, когда он ходил на «Ракете» с подводными крыльями. Поинтересовался у него насчет компании.

— Папаша-то академик, — сказал капитан, — по атомной части. Он в здешние края много лет ездит — наши мужики его знают. Говорят, раньше останавливался только на брежневской базе и рыбачил с охранником, а теперь ученые эти никому не нужны.

— А что, — спрашиваю, — он такой замкнутый, а жена его вообще молчит?

— Старая закалка — привыкли к секретной жизни. А по мне — компания замечательная: не напиваются, не хулиганят, с теплохода не прыгают. Я же обещал тебе, что люди будут приличные!.. Насчет рыбалки, конечно, не все... Академик, понятное дело, профессионал. Жена не ловит, но постоянно при нем: у него хворей без счета, а она врач, следит за ним неотрывно. Если ей что не понравится, сразу ему какую-нибудь таблеточку или укол. А когда он чего-нибудь выловит, она радуется как дитя. Пятьдесят лет вместе, представляешь? Он баб по кочкам несет — дым коромыслом, а ее — ни-ни, даже голоса никогда не повысит. Зятек — тот рыбачит неплохо, с увлечением, хоть и блажит в телефон. Дочка тоже умеет — отец еще с малолетства ее пристрастил. А третья пара совсем никудышная. Мужик съездил разок — не понравилось, теперь сидит безвылазно у компьютера. Женка ругается: ей этот компьютер и дома уже опротивел, хочет рыбу ловить. Может, захватишь ее с собой?.. Спиннинг у них какой-то есть — пусть кидает. А она тебе будет леску в поводки продевать — ты же, поди, не видишь. Завтра утречком порыбачите, лодки пришвартуем и спустимся километров на пять пониже — где-то ведь должен быть судачок.

Оставшиеся до конца недели дни женщина путешествовала со мною. Выловленная рыба, что большая, что маленькая, приводила ее в состояние такого восторга, какого я за долгую жизнь не встречал. Иногда я даже откладывал удилище, потому как наблюдать за проявлением столь значительных чувств было куда притягательнее, чем таскать жерехов и окуней. Однажды она, словно рассуждая сама с собой, обронила:

— А вообще академик прав: нам главное — замуж, и почти все равно, за кого.

Помолчав, добавила:

— Я вон выскочила и страдаю теперь: мы друг другу совсем чужие. Но двое детей, и маяться так до самой смерти.

Мне казалось, что брак подруги ее более гармоничен, и я сказал ей об этом.

— Да что вы, — махнула рукой, — муж помешан на классике, а она классику на дух не переносит — ей джаз или рок подавай. Но первое время, чтобы охмурить, ходила с ним на концерты, хотя и плевалась потом. Ну, выскочила. И до сих пор плюется, хотя на концерты уже не ходит.

— А родители? — спросил я.

— Это другое дело. Я ведь их с детства знаю, и они всю жизнь как единое существо. Хотя характеры непростые. Что-то в людях теперь поменялось. Я как-то спросила, и академик ответил, что поменялось совсем немногое. «Раньше, — говорит, — пели: “Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви”, а теперь поют: “от твоей”, вот и вся разница».

Когда рыболовный тур закончился, теплоход возвратил нас в городскую действительность. Пройдя регистрацию, мы ждали посадки на самолет.

Музыкант, стоя у окна, не отрывался от мобильного телефона, напевая время от времени обрывки мелодий. Красивых мелодий, а значит, девятнадцатого столетия. Или восемнадцатого. Компьютерщик сидел с ноутбуком на коленях и напряженно вглядывался в экран. Родители были, как всегда, рядышком и не поднимали задумчивых глаз. А подруги все щебетали, слышалось только: «Постоянный?.. Разведен?.. Часто встречаются?..»

ЛЕСНАЯ ПУСТЫНЬ

Местность, в которой я когда-то служил, сильно пострадала от злодеяний, ниспосылавшихся русской деревне. К примеру, целый сельсовет со всеми населенными пунктами был опустошен ради некоего укрупнения, и обширные земли его в конце концов заросли непроходимым лесом. Конечно, годные срубы были своевременно увезены, но старья оставалось немало, и почерневшие хоромы, оседая и заваливаясь, медленно умирали.

Сохранился в селе и храм. Каменный, сильно поврежденный. Последний его настоятель был расстрелян и теперь молился о нас в сонме новомучеников российских. Храмом этим заинтересовался известный монастырь: искали место для уединения — для скита то есть. Вот мне и выпало сопровождать пожилого иеромонаха, присланного провести исследование. Договорились с леспромхозом: две бутылки — тому, четыре — этому, — и получили в свое полное распоряжение вездеходный «Урал». Дело было весной, но поздней: снег сошел, и даже в лесу зеленела первая травка.

Тяжелый грузовик медленно полз по давно не езженной дороге, зараставшей кустарником. Временами путь преграждали стволы упавших деревьев, и тогда мы останавливались, шофер вытаскивал из кузова бензопилу, чтобы расчистить проход и ползти дальше. К полудню, когда преодолели километров десять–двенадцать и, значит, еще столько же оставалось, случилась поломка. В наших условиях совершенно непоправимая. Шоферу надо было возвращаться за необходимой запчастью, а мы были определены в крепкую избушку, вроде охотничьей, сложенную, однако, не охотниками, а пастухами: вдоль лесного ручья некогда простирались замечательные луговины. Кое-какие продукты у нас имелись, водитель оставил пакет, который ему собрала жена, и мы взялись обихаживать новое пристанище, понимая, что вылазка наша сегодняшним днем не ограничится и ночевать придется именно здесь.

К счастью, печка была вполне исправна, а в сенцах сохранились сухие дрова. Нары, правда, были ничем не покрыты, но мы с батюшкой сошлись на том, что твердое ложе целительно для здоровья. Подмели, проветрили, растопили печь, поставили на нее закопченный чайник, принесли брусничного листа для заварки, разложили на столике перед оконцем еду, помолились и приступили к трапезе.

До чего же вольно, до чего хорошо нам было! Никуда не надо спешить, никаких сроков пред нами — времени словно и вообще нет. А уютно — как бывает лишь детям «в домике», где-нибудь под столом.

Поразмыслив, придумали обустройство постелей: наломали тонких еловых веточек и взбили такие перины, что о целительности голых досок пришлось забыть. Потом пошли прогуляться.

Был прекрасный весенний вечер — тихий, теплый, искрилась мелкая, не кусачая мошкара, тянули вальдшнепы. Я рассказал отцу Дионисию — так звали иеромонаха — об этих куличках, о тяге, и он, человек городской, даже, пожалуй, сугубо городской, слушал с искренним изумлением. Попалось сыроватое, грязное место с отпечатком медвежьих лап. Я попросил батюшку не наступать на звериный след, а пройти рядом.

— Это что — языческая примета? — спросил он.

— Да какое уж тут язычество, — говорю, — просто в следующий раз придет и, глядишь, нашу деликатность оценит. А если затопчем его следы, может понять как вызов. Он тут, наверное, за хозяина. Вот, смотрите! — Я показал задиры, сделанные на стволе огромнейшей ели.

Отец Дионисий не понимал.

— Встал, — говорю, — на задние лапы и ободрал дерево, чтобы все видели, какой он большой.

— Так это он до такой высоты дотянулся?

— Ну да, — говорю.

И мой напарник запросился домой.

В избушке было тепло. Помолившись, мы легли на веточки и быстро уснули. Среди ночи нас разбудил мощный медвежий рев.

— Как паровоз, — сказал отец Дионисий, — и, по-моему, паровоз этот приближается... Он избушку-то не сломает?

— Не должен.

— Что же он так ревет?

— Обнаружил наше присутствие и дает понять, кто здесь самый главный.

— А теперь ворчит.

— Это по-стариковски, по-доброму.

— Вы меня все успокаиваете и успокаиваете, а я, знаете, не достиг высот преподобного Сергия или преподобного Серафима, чтобы запросто общаться с медведем. — И начал шептать молитву.

Я, конечно, тоже ничего не достиг и потому сожалел, что мы не захватили с собой ни фонаря, ни свечки: если бы окошко излучало свет, было бы куда безопаснее. Судя по следам, зверь был непомерный какой-то и при желании мог, конечно, раскатать старенькую избушку. Оставалось надеяться лишь на его рассудительность да на молитвы иеромонаха.

Мишка ушел, но заснуть мы уже не могли — переговаривались. Отец Дионисий рассказал, что в монастыре недавно — лет пять, а прежде работал редактором, причем в нотном издательстве. Я никогда не встречал нотных редакторов и потому стал с интересом расспрашивать его. Он же, явно обрадованный тем, что погибельная напасть миновала, говорил охотно и весьма живо.

— Как же, — спрашиваю, — редактировать музыкальные тексты? Сверять с какими-то эталонными образцами, как при переиздании литературной классики?

— Необязательно, — отвечает отец Дионисий, — я ведь, когда гляжу в ноты, слышу их и, если возникнет какое-то несоответствие, исправлю. Классика невероятно гармонична, она — от Бога. А кроме того, я ведь окончил консерваторию — пианист, много играл, много слушал... Исполнительская карьера не сложилась, стал вот редактором. Но основные фортепианные тексты знаю до мелочей: скажем, некоторые бетховенские сонаты могу на бумаге воспроизвести по памяти. Не говоря уж о шопеновских вальсах или мазурках. Конечно, иногда что-то вызывает сомнение, приходится уточнять, но не часто.

— А двадцатый век?

— Первая половина — потруднее, там еще только все разваливалось, все перемешано — приходится сверять, а потом гармония совершенно исчезла и пошли диссонансы — чем страшнее, тем лучше, редактор может пропустить любую чушь — автор все равно не заметит. Большинство произведений и исполнялись-то по одному разу. Знаете, в нашей музыке конца двадцатого века есть несколько ритуальных имен. Их, как пароль, то и дело повторяют те, кто ненавидит гармонию, те, кто, по определению Господню, не может принести доброго плода. Попросите их напеть хотя бы три мелодии из сочинений ритуальной кучки, и они сразу умолкнут. Мне в прежней жизни не раз доводилось завершать такие дискуссии предложением: вы мне — три мелодии восхваляемого сочинителя, а я в ответ — тридцать мелодий Чайковского, или Верди, или Бетховена, Шопена, Шумана, Баха... Сразу начинается: это совершенно иная музыка, концептуальная... Она действительно концептуальная — в плане идеологическом или даже духовном: гармония — от Бога, а разрушение гармонии — от... сами знаете от кого. Вот, собственно, и вся «концептуальность».

Он помолчал, а потом осторожно спросил:

— А медведь больше не придет?

— Не должен.

— Да кому он вообще чего должен?

— И мы рассмеялись.

— Куда все исчезло? — вздохнул отец Дионисий.

— Что — все?

— Да все... Когда я учился, мы ходили на Рихтера, добывали записи Каллас, ездили в Ленинград на Мравинского... Их давно уже нет, но все, что появлялось потом, даже для сравнения с ними непригодно... Впрочем, давайте спать, а то скоро, наверное, шофер явится.

Утром шофер не появился. Мы доели остатки хлеба и ждем: он, между прочим, должен был принести провизии на весь день. Потом насобирали сморчков и сварили их в котелке — получился обед. Пошли гулять: обнаружили развороченный муравейник, и я рассказал отцу Дионисию о пристрастии медведя к муравьям. Батюшке понравилось, что маленькие муравьи, защищаясь, могут укусить огромного зверя прямо в нос, и он воскликнул: «Молодцы!» Воскликнул, наверное, слишком громко, потому что медведь, почивавший на другой стороне ручья, проснулся и, круша деревья, бросился прочь. Там было много гниловатых берез, и они разлетались с треском, словно от взрыва.

— Что это? — растерянно спросил отец Дионисий.

— Испугался. — Я поведал ему о пугливости могучего зверя и предложил перейти ручей, чтобы взглянуть на свидетельство медвежьих испугов. Он отказался.

Других приключений в этот день не случилось, вот только отсутствие шофера вызывало недоумение. Ужинали пустым брусничным чаем.

Ночью снова раздался медвежий рев, но на сей раз «паровоз» удалялся и удалялся от нас, пока не затих совсем.

— Куда это он? — спросил батюшка. — Неужели мы его так напугали?

— Не похоже.

— А обидеться он не мог?

— Не должен. — И мы опять рассмеялись.

Утром пришел шофер. Повинился, что опоздал на сутки — искал запчасть по всему району. Дал нам еды, починил машину, и мы тронулись дальше. Когда пришлось пилить очередное поваленное дерево, обнаружились следы двух медведей: огромные — нашего и поменьше — какого-то незнакомого, чужого. Стало быть, прогонял чужака.

— Тогда ладно, — успокоился отец Дионисий, — а то я уж думал, что мы его чем-то обидели.

— Бо-ольшой, — покачал головой шофер, — но прежде здесь обитал вообще безразмерный. Охотники зимой заходят в избушку, а он — там, спит. Вместо берлоги.

— И что? — взволновался батюшка.

— Что «что»? Подстрелили... Вторая шкура в стране...

— А первая где?

— Первая... где-то... не помню.

Отец Дионисий растерянно посмотрел на меня, и я, скрывая улыбку, отвернулся.

К полудню добрались. Осмотрели храм — довольно обычную постройку конца девятнадцатого века. Стены внутри были закопченными, как после пожара.

— Отчего это? — спросил отец Дионисий, не выпускавший из рук фотоаппарата.

— Да тут году, наверное, в семидесятом художник с писателем ездили — иконы собирали. Тогда почему-то и загорелось.

Обратный путь пролетели быстро и без приключений. От бани иеромонах отказался, мол, и так два дня потерял — некогда. Я спросил его о впечатлении.

— Храм-то легко восстановить. Жаль, конечно, что все кругом заросло и ни одного строения не осталось — даже переночевать негде. Пусть начальство решает: настоятель наш — дальний родственник этого священномученика, внучатый племянник, что ли. Но вообще поездка была замечательная, особенно — жизнь в избушке. Настоящая пустынька, я бы и поселился в ней.

— А как же, — спрашиваю, — медведь? Вдруг завалится вместо берлоги?

— Не должен, — смеется отец Дионисий, и мы прощаемся.

УЕЗДНЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Иван Фомич родился в кромешной глуши. Детство и юность его скрылись за непроглядною мглою времен, и никто никогда уже не расскажет ни о его отце, ни о матери, ни о той школе, где он изучал «аз, буки, веди, глаголь, добро», — памяти об этом на земле не осталось.

Потом наступил двадцатый век, произошла Русско-японская, и юношу мобилизовали. Первое дело, в котором ему довелось участвовать, случилось не под Мукденом и не под Ляояном, а значительно ближе — на перегоне Галич—Шарья. Здесь был обнаружен труп офицера, выпавшего из предыдущего поезда, и новобранцу приказали охранять этот труп до прибытия судебно-медицинских экспертов.

Господин полковник самолично предупредил: «Дело это — государственной важности».

Остался Иван караулить — начальство обещало, что утром приедут доктор и прокурор. «А может, сам господин генерал пожалует», — обронил между прочим полковник.

Было полнолуние, глаза мертвеца и начищенные сапоги его жутко блестели, но Иван не отходил ни на шаг — исполнял маневр. И пролетали паровозы, осыпая что живого, что мертвого искрами, обдавая паром, дымом и кислым запахом перекалившегося угля. Как еще его бутылкой не укокошили — прямо над головой просвистела.

Потом вдруг — поздно ночью уже — послышался вдалеке разговор. Иван насторожился. Глядит — человек идет.

— Стой!

— Это я, — говорит, — Нюра. — Баба, стало быть.

— А кто еще с тобой?

— Никого, одна я.

Подошла, увидела труп, заверещала, да к солдату на грудь: «Ой, боюсь! Ой, умираю! Ой, не могу!»

— А с кем это ты разговаривала?

— Ах, это вам приблазнилось.

— Дак вроде разговаривала.

— Ну, может, если только сама с собой, чтобы не так боязно было. Ну проводите же, а то я в омморок упаду или совсем умру, — и падает.

Испугался Иван, подхватил бабу:

— Так и быть, провожу, но недалеко: мне никак нельзя отлучаться — государственной важности...

— Ну хоть сколько-нибудь, а то такой интересант и такой бессердечный: я ведь совершенно умереть могу.

Повел он ее, а самому все чудится: шебаршит за спиной кто-то... Но только обернется, Нюра сразу: «Ах, умираю», — хвать его за рукав и виснет.

Сколько-то протащились, бабешечка поуспокоилась, поутихла.

— Благодарствую, — говорит. — Дальше я и сама дойду. Извиняйте, что оторвала вас от военного дела.

Расстались. Возвращается доблестный воин, а подшефный его — без сапог. Вот те и Нюра. Стало быть, не одна она шла, а в компании... Сапоги же, надо сказать, стоили в ту пору бо-ольших денег. Ну, понятное дело, Ивана тут охватило отчаянье. Такое отчаянье, что другой кто не выдержал бы и руки на себя наложил. Однако парень воспитан был в силь-

ной церковной строгости, полагал самоубийство тягчайшим грехом, да и приказ выполнять следовало.

Прибывшие утром эксперты обнаружили Ивана босым, а офицера — в обмотках. Посмеялись, а потом старший из офицеров спросил:

— Грамотен?

— Так точно. Читать и писать умею.

— Будешь учиться на фельдшера... Здоров, грамотен, честен, с трупом обходишься по-людски — что еще надо?

Так Иван оказался при госпитале. Тут как раз начались сражения, и учеба пошла донельзя споро. Круглые сутки везли раненых, хирурги махали ножами с виртуозностью кавалерийских рубак: ампутированные руки и ноги летели — знай успевай выносить, кровь лилась со столов на земляной пол, гнила в земле и смердела.

С войны Иван Фомич возвратился фельдшером. Военным фельдшером. То есть умеющим оказывать милосердную помощь пострадавшим от пуль, штыков, сабель, огня и осколков. Для мирного времени этого не хватало. Поэтому пришлось съездить в губернию на акушерские курсы, потом — на курсы дантистов и наконец на ветеринарные.

Родной городишко его располагался в такой труднодоступности, что доктора сюда почти не попадали. А если и попадали, то уж не задерживались. Лечить же и народ, и скотину, невзирая на незавидное расположение, было надобно. И он лечил... Но дело, строго говоря, не в этом — не в общественной полезности его труда; полезность очевидна, бесспорна, и более к сему ничего не добавишь. Дело в том, что жизнь свою Иван Фомич воспринимал до невероятности однозначно — как служение. Он полагал, что в этом служении его человеческий долг на земле, и нисколько не роптал на неудобства, неизбежно сопутствующие подобному отношению к цели своего бытия: в любое время, в любую погоду за фельдшером можно было прийти, и он, не поворчав и не вздохнув даже, смиренно отправлялся к больному.

Денег Фомич не брал. Между тем семья у него была немаленькая — шестеро детей. То есть всего — девятеро, но трое умерли во младенчестве. Вся эта семья жила на фельдшерское жалованье, ну и, само собой, огород выручал. Можно предположить, что супругу этакая стойкость по отношению к материальным соблазнам не приводила в восторг, однако сознание деревенской женщины не было помрачено туманом эмансипации: она имела ясное представление о своем месте и потому никаких претензий к Ивану Фомичу никогда не высказывала. Возможно, именно это обстоятельство и придавало их семейной жизни необыкновенную прочность.

А еще Иван Фомич сроду ничего не копил, да и домашним не позволял. Он говорил так: если у тебя копится, значит, кому-то недостает.

Каким образом шло развитие этой натуры — неведомо. Одно точно: душа его, выпестованная катехизисом и молитвой, оказалась вполне подготовленной к пожизненному служению милосердием.

Женился он романтически — невесту взял из Трескова, самой волчьей деревни во всем уезде. Надлежит указать, что в местности той и сейчас волков тьма-тьмущая, а тогда — воображением не охватишь. Иван Фомич хранил на крыльце заряженное ружье и неоднократно бивал зверей прямо во дворе, огороженном, как и все прочие дворы этого города, высоченным глухим забором.

Зимой дело было, ехали в санях, — а от Трескова езды верст десять, — волки и налетели. Передал Иван вожжи невесте, сам — отстреливаться. И все бы благополучно, да один пустяк: с невесты платок сорвало. Потом, когда уже спаслись от волков, разыскали и чем повязать невесту — все ж не с пустыми руками она ехала, кое-какое приданое везла. Вскоре, однако, дня через два-три, открылась у нее простуда, стали побаливать уши. Иван Фомич перепробовал известные ему средства, свозил супругу к губернским врачам, но слух ее все слабел. Через несколько лет она оглохла.

Впрочем, и это обстоятельство не ослабило их взаимной привязанности — привязанности, которую каждый из них хранил до последних дней: Иван Фомич ненадолго пережил свою суженую, умер он на ее могиле.

Печальному сему событию суждено было произойти в тысяча девятьсот сорок шестом году, женился же фельдшер в тысяча девятьсот шестом, то есть впереди еще оставалось сорок лет жизни.

Три года из сорока ушли на очередную войну — империалистическую, которую Иван Фомич добросовестно отработал в полевых лазаретах двух фронтов: сначала — отступавшего Северо-Западного, затем — блистательно наступавшего Юго-Западного. Домой попал в самом конце семнадцатого года. Не успела благоверная высушить слезы радости, как в дверь постучали и на порог ввалился мужик:

— Спаситель! Приехал! Батюшка! Иван Фомич! Дите помирает!..

— Иду, голубчик, иду. Сейчас... Только вот саквояжик возьму...

С саквояжем этим Иван Фомич в мирной жизни не расставался. На ярмарку ли идет, на рыбалку — всегда в руке саквояж. Даже на охоту таскал — через плечо, вместо ягдташа; бродит, бродит по лесу, выйдет к какой-нибудь деревеньке — погреться, чайку попить, заодно и с народишком пообщается: того послушает, тому порошочков даст, тому ранку полечит. А хозяевам, которые его угощали, обязательно дичину оставит — рябчиков, тетерочку: даже пустячной прибыли не сносил.

Бывало, спешит со своим саквояжиком по узенькому дощатому тротуару — они сохранились в горо-

де и поныне, — навстречу священник. Остановится Иван Фомич:

— Эх, батюшка, грешен я, грешен — воскресную службу пропустил.

Тот ему:

— Да что ты, отче?! Если и есть душе твоей сокрушение, так в этом мой грех — мало, значит, молюсь за тебя. Ты уж беги, беги, не останавливайся. — Благословит фельдшера, да еще и вслед не единожды осенит крестным знамением.

Жил некогда в уезде до чрезвычайности богатый помещик. Прославился он тем, что в годы подготовки реформы сам попросил у государя вольную для своих крестьян. Государь, надо полагать, увлекся возможностью произвести пробу и высочайшим рескриптом пожаловал всем его крепостным вольную.

Освобождение они восприняли как знак барского недовольства: начались обиды, народом овладело уныние, и барину большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и покой. Ни один человек дома родного не оставил.

Об обстоятельствах опыта и о поистине идиллическом его завершении было, разумеется, доложено Государю. Что думал он по этому поводу, мы уже не узнаем, но известно, что помещик, о котором идет речь, был образцом не самым типичным, и потому едва ли многого стоил опыт с его крепостными. Дело в том, что человек этот являл собою пример охотничьей безграничности, то есть, с одной стороны, он и страсти своей предавался безгранично, а с другой — охотничья его известность не признавала ни уездных, ни губернских, ни даже государственных границ.

Крестьяне, ему принадлежавшие, ничего не сеяли, но занимались прасольством, то есть закупкой и перепродажей скота. А когда из Москвы приезжал барин... нет, не так... Когда барин, скакавший словно на сечь, влетал наконец в свои угодья, крестьяне отбрасывали всякое полезное дело и, надрывая глотки, вопили «ур-ра!». Начиналась охота: гончие, борзые — праздник! Интересно, что угодья его резко отличались от окружения: просторнейшие луга с оврагами и островками леса — чистая полустепь, тогда как на много верст кругом — буреломы, и все предремучие.

Отохотившись, он убывал в Москву, и снова по деревням тишь да спокойствие. Чего ж оставлять такого барина? Конечно.

Как-то гоняли лису — не складывалась охота, долго гоняли. И вот, когда собаки должны были уже взять зверя, баба-дура возникла: как получилось — никто не видел. Подскакал барин к лесу: баба орет, борзые рядом стоят, а лисы нет. В сердцах стеганул бабу арапником, развернулся да и назад. Вечером сказали ему, что баба преставилась: по горлу он ей попал...

Барин положил пенсион сиротам, вышел в отставку, поселился в Москве, ходил каждодневно в церковь, подавал нищим и через несколько лет умер со словами: «Нет мне прощения и не будет».

Сын его совершенно не имел черт, сделавших известность отцу. Да это и понятно: воспитывался он в то время, когда отец безуспешно усердствовал на ниве искупления тяжкой вины. Молодой барин вырос человеком необычайно сдержанным — и в движениях, и в словах. Получив значительное образование, он начал серьезно заниматься экономическою наукой и попал в число тех, кто волею обстоятельств был подвигнут на поиски выхода из смятения, в котором после Японской войны пребывала Россия.

Люди эти, известно, взялись за дело резво, и Европа вскорости поняла, что если не втянуть Россию в новую войну, ее, быть может, уже и не остановишь...

Ивану Фомичу пришлось как-то принимать роды у жены молодого барина, однажды он выдергивал зуб самому помещику, но более всего семья эта подружилась с фельдшером, когда он вылечил старого кучера. Старик был мужем несчастной бабы, некогда убитой арапником, и молодой барин, взваливший на себя бремя отцовского долга, умолял спасти бедолагу. Фельдшер легко проникался чужой виной и бедой, но — чахотка... Разве ее одолеешь?

Отступила, однако. Почему? Фельдшер не знал — лекарств у него не было. Лечил он более всего молитвами и разговором.

Если барин был молчалив, то уж кучер — напротив: и кашляет, а все бормочет. От него фельдшер узнал, что у молодого барина много врагов.

— Как же так? — не понял Иван Фомич. — Он ведь вроде за мужика, за Россию...

— В точности, — согласился старик. — За Россию, за мужика, оттого и враги.

— Да кто же они?

— Книжники и фарисеи, — удивляясь фельдшерову недоумению, объяснял больной, — кто ж еще? Враги у нас одни и те же аж до самого второго пришествия.

А затем сообщил и главный секрет:

— Скоро развалюция будет.

Но это Иван Фомич совсем уже отказывался понимать.

Короче говоря, все они утверждали, что лучшего лекаря нет и быть не может. То есть фельдшер определенно стал семейным доктором этой фамилии.

Примерно через полгода после его возвращения с империалистической войны молодой помещик оказался в уезде: он направлялся в свое имение, чтобы взять некоторые, должно быть весьма необходимые ему, бумаги. Зайдя в избу к фельдшеру, он сказал:

— Иван Фомич, дорогой, собирайтесь. Едем в Париж. Все, все вместе: с супругой вашей, с детьми. Едемте. Я назначу вам хорошее жалованье... Мы так

привыкли к вам, вы — совсем не то, что эти бездушные городские доктора...

Фельдшер выслушал, за доверие поблагодарил, а потом и говорит:

— Это немыслимое дело.

— Вы же нищий здесь, а там — озолотитесь!

Иван Фомич даже растерялся, услышав такую, по его мнению, несусветную глупость от образованного человека:

— Желанный, да как же вы?.. Да за право жить здесь и заплатить можно...

— Если б жить! А то — страдать, мучиться, терпеть издевательства... А потом погибнуть какой-нибудь нелепой и пустой смертью.

— За право умереть здесь — тем более заплатить следует...

В ноябре сорок первого фельдшер сумел предсказать дату контрнаступления под Москвой.

Дело было в больнице. Хворый народ рядил-гадал, и все упирались в двадцать первое декабря — в день рождения вождя нашего.

— Устрашительно, — согласился фельдшер. — Очень даже. Но сподручнее все-таки шестого — в день Александра Невского. Единственный святой, который бил немца, так что подходяще шестого начать.

Вскоре, понятное дело, его разлучили с женой и, по слухам, пригрозили легонько: мол, держись теперь, мракобес, доберется до тебя товарищ Емельян Ярославский! Но тут как раз подоспела сводка о начале контрнаступления, и фельдшер оказался в совершенных героях — одни стали приписывать ему дар прорицания, другие поговаривали о его тайных — через посредничество воюющего на фронте сына — связях со ставкой. А он лишь недоумевал: когда, как не на Александра Невского, начинать подобное дело? Чего же тут непонятного?

В конце сорок четвертого он предсказал еще, что окончится война «на Егория», потому как и «главный полководец у нас Егорий», да и вообще — «так сподручнее». То ли он староват стал, то ли ход его рассуждений был на сей раз недостаточно точен, только уж просчитался фельдшер. Чуть-чуть, в три денька, а просчитался. Случись такое в сорок первом году — несдобровать бы ему, а тут — простили. Правда, пожурили для строгости: «Жаль, не слышит тебя теперь товарищ Емельян Ярославский», — но простили. Хотя к «Егорию» война фактически и закончилась, так что ошибка имела характер, можно сказать, формальный.

Когда умерла супруга, Иван Фомич стал пропадать на погосте. Народ отыскивал его и здесь. И фельдшер, по обыкновению безропотно, отправлялся, куда вызывали.

На погосте он и упокоился. Саквояжик в этот час был при нем.

ПЕРСИЯНКА

Зимой 1907 года в уездном городе С. крестили новорожденного. Крестили дома, поскольку морозы стояли жгучие и в храме было холодновато. Батюшка пришел после богослужения, уставший. Хозяева предложили ему пообедать и отдохнуть, однако он твердо сказал:

— Первое дело важнее второго: сначала крестим, потом — все остальное.

Молодой родитель робко предложил:

— А ежели... с морозца?..

— С морозца? — переспросил священник и раздумчиво произнес: — Ну разве только... с морозца.

И вместе с крестным они расположились за столом, на котором стоял ушат, приуготованный стать купелью.

И пока мамаша с восприемницей где-то там занимались чем-то женским — закуской или ребенком, мужчины в жарко натопленной горнице «с морозца» да «с морозца»... При этом батюшка, выяснив дату рождения ребятенка, раскрыл месяцеслов и стал зачитывать имена: «Апостол Тимофей, Анастасий Персянин, Макарий Жабынский, Анастасий Печерский, Мануил, Георгий, Петр, Леонтий, Сионий, Гавриил, Иоанн, Леонт, Парод».

Из перечисленных батюшке более всего понравился Анастасий Персянин, мужчины согласились, что это весьма благозвучно. Тут опять подоспело «с морозца»...

Потом торжественно и бережно внесли младенца, и священник приступил к таинству. Ребенок орал так громко, что до поры ни родители, ни восприемники не внимали тому, как батюшка именует его. Но когда пришла пора погружения и было произнесено: «Крещается раб Божий Анастасий», крестная вдруг как завопит: «Дак она же девка!» Батюшка перевернул тельце, присмотрелся:

— Темно у вас, ничего не вижу.

— Точно — девка, — подтвердили мужчины.

— А что ж вы на Персянина согласились?

— Дак оно красиво, конечно, но мы вообще-то ждали женского имени, — объяснил крестный.

— В этот день исключительно мужеские имена. Если бы вы сказали, что у вас девка, я бы и следующий день в святцах посмотрел, и третий... А то «Персянин», «Персянин», а у самих — персиянка!

— Что ж теперь будет? — всхлипнула крестная.

— Да не верещи ты, будет Анастасия, — постановил батюшка.

— А я хотела Валентину, — призналась мамаша.

— Валентина — следующая, — пообещал священник, — а эта — Анастасия.

И все успокоились. Дальше дело пошло в благоговейном соответствии с церковным уставом.

Собрались гости, попраздновали. Родители и крестные наперебой рассказывали о крещении, все смеялись, дружно соглашаясь, что эта путаница —

добрый знак. И никому в голову не пришло осудить батюшку.

Настал черед песнопений, которые у нас при любом веселье почему-то неизменно грустные до тоски. Хозяин играл на гармошке, пели «Что стоишь, качаясь...», «По диким степям...», «Среди долины ровныя...». Когда затянули «Трансвааль, Трансвааль, страна моя...», некоторые из гостей заплакали — очень уж народ наш сострадал неведомым бурам.

Наконец священник отправился домой. Крестные провожали его, поддерживая под локотки. Восприемница несла корзину с угощениями, а восприемник держал в руке требный саквояжик батюшки. Граждане, встречавшиеся им по пути, подходили под благословение, поздравляли «с прибылью», спрашивали имя новообращенной и, осенив себя крестным знамением, молились о здравии младенца Анастасии — моей будущей матери. И снова никто никого не осуждал.

Жители города были людьми действительно православными, то есть хотя и греховными, но не торопливыми на грех, стало быть, и осуждать не спешили.

...Пройдет несколько лет, и батюшка этот будет расстрелян за исповедание веры Христовой.

ТИХИЙ ГОРОД

Солирецк — город действительно тихий. В этом убедится всякий чужой человек, который по какому-то случаю здесь окажется. Я оттого говорю о случае, что жизнь, при всей своей неисповедимости, может сделать подобный выбор лишь нечаянно. А так ведь, сколько с завязанными глазами пальцем в карту ни тычь, сколько бумагу ни мусоль — в иных местах, кажется, вот-вот дырки проткнутся, а в Солирецк не угораздит, нет: так и останется он зеленеть темной лесною глушью.

Впрочем, глушь в России появилась со строительством железных дорог, то есть в общем недавно, а до того все тракты были равны между собой, и на перекладных ездили по всей стране. И в старинные эти времена Солирецк пользовался столь очевидной известностью, что даже ордынцы пытались завоевать его. «Прииде рать велия четыренадесять тысяч, — здесь, возможно, преувеличение, — и дойдоши варвари до града Соли Рецкия, зело величахуся и хваляхуся град той взяти» — последние слова сказаны не без злорадства: город устоял. «В котлах железных грели воду и кипятком на поганых плескали» — так и было.

В более поздние времена, когда появились «чугунки» и ближайшая пролегла в долгих ста двадцати верстах от города, он и стал превращаться в отдаленность от главной дороги, то есть собственно в глушь.

Тут свершился октябрьский переворот, и на тихий Солирецк обрушилась череда страшных событий. Для начала из Петрограда прибыл большевик Лузгунов — местный житель, ездивший в столицу на заработки. Собрав родню и приятелей, он разогнал законный Совет, Городскую думу, установил единоличную власть и приступил к повальному грабежу. Называлось это экспроприацией.

Народу новая власть не понравилась: вышли на крестный ход. Лузгунов решил для острастки пострелять из револьвера над головами бунтовщиков, но, похоже, несколько занизил: случилось убийство. Люди бросились на незадачливого стрелка и даже успели причинить его телу и голове повреждения, однако он сумел вырваться, убежать и спрятаться в больнице. Ночью его никто не потревожил, поскольку дежурил по больнице фельдшер — человек в Солирецке уважаемый. А утром, когда его сменил врач-практикант, ненадолго присланный из губернии, Лузгунова подкараулили возле нужника, закололи штыком, штык тут же и утопили.

Наивный город еще не был знаком с манерами новой власти. Через несколько дней в Солирецк ворвался карательный отряд — сто пятьдесят сабель. Засветло расквартировавшись, бойцы приступили к делу: толпами вламывались в дома, мужчин вытаскивали на улицу, рубили и расстреливали. Потом, привязав труп к саням, ехали дальше.

К утру все улицы города окрасились кровью, а площадь была завалена убитыми. Вперемежку лежали священники, учителя, отставные военные, телеграфисты...

Пока отряд не умчался устанавливать народную власть в других городах и весях, жители Солирецка не покидали своих домов. За это время метель успела завалить снегом и улицы, и площадь.

Всех убиенных предали земле. Священники, не расстрелянные в минувшем побоище, ежедневно служили панихиды.

Когда потеплело и снег начал таять, кровавые следы проступили вновь: той весной все ручейки в городе были розовыми.

СТАРЫЙ ЗАДАЧНИК

Сборник арифметических задач, издававшийся во времена, которые теперь никто не помнит, мог бы ошеломить не только нынешнего старшеклассника, но, пожалуй, и нынешнего студента. Скажем, вот:

«Некто оставил трем сыновьям вексель в 28034 рубля, который был учтен ими математически по 8,4 процента за десять месяцев до срока с тем, чтобы они распределили его обратно пропорционально их возрасту. Лета младшего относятся к летам среднего как 0,045 к 7/111, лета среднего составляют 0,875 лет старшего, младший моложе старшего на девять лет. Капитал младшего сына был поме-

щен по пять с половиной процентов; средний сын приобрел на оставленные ему деньги четырехпроцентных бумаг по курсу восемьдесят; старший купил землю по сто сорок рублей за десятину и отдал ее в аренду по семь рублей в год с десятины. Определить, сколько лет каждому из братьев и чей капитал помещен выгоднее?» Это — далеко не самая сложная, хотя и не самая простая задачка из четырех тысяч, предназначенных для учащихся реальных училищ, гимназий и семинарий. Приказчикам больших магазинов надлежало решать такие задачи с ходу и безошибочно.

Однако книжка достопримечательна еще и вот почему: автор ее частенько держивал неизменяющееся пари, что всякое событие всякой жизни можно легко изложить в нескольких строках школьной задачки. «Свадьба? Пожалуйста! Смерть? Чего проще!» И действительно, в каждое переиздание он включал все новые и новые истории человеческого бытия, а значит, новые и новые пари выигрывал. Он вообще был удачлив. Такое иногда случается. Но редко.

Книжки его расходились мгновенно, их покупали не только учащиеся, но также лавочники, купцы, помещики, генералы, ростовщики... Покупали, разумеется, вовсе не из желания поупражняться в решении арифметических задач, а для того, чтобы на досуге заняться разгадыванием наиновейших включений.

— Так, стало быть, — морщил лоб владелец шляпного магазина где-нибудь на Кузнецком и в очередной раз повторял: — «Торговец закупил партию сукна, платя за аршин три рубля двадцать восемь копеек. Перевоз по реке обошелся ему...»

— Про Савицкого, — вновь пытался уверить его приказчик.

— Думаешь, Савицкий? — Он поднимал голову от учебника, взгляд его устремлялся за окно и замирал на недвижной точке, невесть как найденной в мельтешении шляпок, зонтов и вуалей. — Копылов это, — нерешительно предполагал он. — Савицкий нынче сукном ни в одном магазине не торговал.

— А тут и не сказано, чтоб торговал: купил! А он совершенно вполне мог приобрести и придерживать — цену ждать...

— Да у него и складов-то подходящих нет, а у Копылова... Погоди, погоди-ка... Так это ж Кузьмин!

— Точно! Кузьмин! В Нижнем Новгороде!

— Ну! И по Волге доставил!..

Той же порой в другом доме на другой улице стареющая графиня выговаривала супругу:

— Не послушались меня, сударь мой, поленились в Торжок съездить, а Дурасов не проморгал, и вот, пожалуйста: «...заливные луга по девяносто рублей за десятину, шестьдесят десятин лесу по двести пятьдесят два рубля». О внуках, сударь мой, не думаете: усадебка там хоть и невелика, да новехонька, а отдали — почти что даром.

То есть задачник этот, кроме прямого своего предназначения, обнаруживал еще и иные, подчас несколько неожиданные, направленности. То ли автор таким вот образом удовлетворял тайную беллетристическую страсть, то ли, может быть, завоевывал популярность, то ли он, попросту говоря, шалил — трудно теперь сказать, да и не о том речь: в задачник этот вкраплены биографии ряда интереснейших людей своего времени. В частности, небезызвестных купца М. и банкира Д.

Вот как, если немного упростить помрачающую восприятие арифметическую сложность, описана жизнь купца М.

«Купец имел начальный капитал восемьдесят тысяч рублей. В первый год своего торга он получил убытку пять тысяч рублей, во второй — барыша семь тысяч рублей, в третий — также барыша двенадцать тысяч рублей, в четвертый — опять убытку две тысячи...

Слуга нанят за сто сорок четыре рубля в год. По прошествии семи месяцев он получил шестьдесят рублей и платье...

Начав в 1880 году торговлю с капиталом восемьдесят тысяч рублей, купец в 1910 году имел два миллиона...

Купец пожертвовал десять тысяч рублей на строительство шоссе, пятьдесят процентов этой суммы на богадельню и двести процентов на церковь...

Купец имел тридцать два магазина в Москве, двадцать семь в Петербурге, шесть в Нижнем Новгороде, два в Твери, по одному в Астрахани, Галиче, Вятке, Великом Устюге и двадцать восемь в Сибири...

В больнице из двадцати холерных умерло трое...

Купец завещал одну двадцать четвертую своего состояния на музей, столько же на строительство церкви, девять сорок четвертых остатка на школу, восемь двадцать восьмых нового остатка на богадельню, а остальные деньги положил в банк по пять процентов, с тем чтобы четверо его сыновей пользовались ежегодным доходом в шестнадцать с половиною тысяч каждый...»

А вот краткая биография банкира Д.

«Комиссионеру было поручено продать дом не менее как за двадцать пять тысяч рублей, причем в вознаграждение ему обещано два процента от этой суммы; а если бы ему удалось продать дом дороже, то сверх условленных процентов в его пользу должна остаться половина излишка цены; дом продан за тридцать тысяч...

Некто дал взаймы три тысячи рублей по пять процентов...

Некто дал взаймы шесть тысяч рублей по восемь процентов...

Некто дал взаймы восемнадцать тысяч рублей по девять с половиной процентов (проценты сложные)...

Банкир купил на одиннадцать тысяч рублей акций, причем за каждую акцию платил меньше ее но-

минальной цены; через несколько времени он продал эти акции, получив за каждую дороже номинальной стоимости...

Банкир перевел в Берлин через Амстердам четыре миллиона рублей. Сколько марок окажется на его счету в Германии, если за тридцать девять рублей дают в Голландии пятьдесят гульденов, а за один гульден дают в Берлине одну марку шестьдесят девять пфеннигов и за перевод денег надобно заплатить один процент?»

Случилось так, что младший сын купца М. и единственный ребенок банкира Д. росли вместе: учились в одной гимназии (по этому самому задачнику), потом оканчивали университет (слушая лекции автора этого задачника), наконец сын купца завел свое дело, а сын банкира вошел в дело родителя. Тут жизнь развела их: Д. сделался челноком между Петербургом и Западною Европой, а М. вдруг отправился на Дальний Восток, где вел не очень прибыльную торговлю с заграницею.

Сначала по поводу отъезда М. ходили исполненные недоумения слухи, но со временем утвердилась мысль, что шаг этот вызван унаследованным от родителя пристрастием к зверовой охоте. Общество скорехонько успокоилось и позабыло молодого купца.

Между тем наступили смутные времена. Когда после неоднократной смены революционных властей город, где обосновался М., захватили японцы, торговец заметил, что за ним следят: одетый под мастерового мужичок стал то и дело попадаться на улицах. Тут в городе появился и Д.-младший: он уезжал из России через Дальний Восток и заскочил проведать друга. Ужинали в ресторане. Пока сцена была пуста, вели беседы элегического характера, потом пришел куплетист: «Ах, мои курочки, такие дурочки, такие дурочки, все — монамурочки», — пел он, ударяя по клавишам маленького аккордеона и одновременно отбивая чечетку. Никаких курочек в ресторане, увы, не было — канкан разбежался год назад.

— Он так и пляшет при всех властях? — поинтересовался Д., указывая на куплетиста.

— Наверное, — равнодушно отвечал М. И тут разговор принял неожиданный оборот.

— Я вообще-то все про тебя знаю, — усмехнулся Д., — я знаю, что ты здесь не по торговым делам. Или точнее: не столько по торговым...

— О чем ты?

— Мой родственник стал большим человеком у красных, и ему в руки попали документы царской разведки...

— Ну и что? Я-то здесь при чем? А чего ж ты не остался у своего родственника?..

— Хорошие люди не должны находиться в одном месте: хорошие люди должны жить в разных местах, чтобы иметь возможность в случае чего перебраться туда, где лучше... Но давай не будем терять время... Мы могли бы продавать твою информацию японцам или американцам — все равно России она теперь без надобности... А то — сдадим всю сеть целиком, так сказать оптом?.. Надо посчитать, что выгоднее... Я бы взял только пятьдесят процентов... Или даже сорок, пускай...

— Чушь какая-то...

— Подумай... У тебя молодая жена, дети...

На следующий день М. проводил жену и двоих детей к знакомому охотнику, жившему на окраине города, — тот обещал переправить их в отдаленное займище. Филер снова следил.

Вечером, возвращаясь домой, М. зашел в темный подъезд двухэтажного кирпичного особняка, оставленного жильцами. Подождал. Дверь медленно притворилась. М. выстрелил: вспышка на мгновение озарила не успевшее испугаться лицо «мастерового», и, перешагивая через падающий навзничь труп, М. вышел на улицу.

Потом была принудительная эвакуация: пароход, толпа пассажиров на палубе. Японский патруль, продираясь от одного пассажира к другому, проводил досмотр личных вещей. М. раскрыл перед солдатами саквояж и в это время услышал голос Д., который с почти истеричною торопливостью объяснял отставшему от патруля переводчику — русскому офицеру: «немедленно переведите», «агентурная сеть», «ценные сведения», «можно продать». Переводчик перехватил жесткий взгляд М. и, кажется, что-то понял:

— Я тебе сейчас «продам», гнида! — Тотчас рядом возникли еще несколько офицеров, банкира скрутили и куда-то поволокли.

— Господа, убедительная просьба: не расстреливайте на палубе, — в рупор с мостика кричал капитан.

Д. и не расстреляли — его выбросили на пирс. Прямо с палубы.

Патруль протискивался дальше.

— Так куда же все-таки нас повезут — на Сахалин или в Японию? — полюбопытствовала у М. прижатая к его локтю старушка.

— Не знаю, — отвечал он.

— В Японии русским не жизнь, — сказал кто-то. — Лучше — в Австралию...

— Или в Китай, — присоединился кто-то еще. — Там хоть, в Харбине, наших много...

— Из Японии зато можно в Америку: говорят, пароходы один за другим идут...

— А что за нация в Сингапуре, никто не знает?..

— Туземцы...

— Тогда уж лучше в какую-нибудь Аргентину...

— И чего это япошки не стали оборонять город?..

— Сил не хватает...

— А у большевиков, что — оченно много сил?

— Да, говорят, эти, которые подходят, и не большевики вовсе, а какие-то бандиты или партизаны...

— Армия Дальневосточной республики...

— Наоборот: они против Дальневосточной республики...

— Какая разница: грабят да убивают — Приморье кровью залили...

— Так куда же все-таки нас повезут?..

— Неизвестно...

— Может быть, и вернемся еще...

— К разбитому корыту...

— Хоть так...

Грохнул выстрел.

— Господа, — вновь закричал капитан, — я же просил: не расстреливайте на палубе.

Пароход отчалил.

— Так куда же все-таки нас везут?..

Автор знаменитого задачника, к счастью своему, не дожил до этих печальных дней, которые никакой алгеброй не поверишь: он умер, так и не проиграв ни одного пари.

Он вообще был удачлив. Такое случается. Иногда. Но очень редко.

«ЕХАЛ Я ИЗ БЕРЛИНА...»

Когда началась война, Борьку пристроили денщиком к важному командиру. Сашку пока не надо было пристраивать — годов не хватало. А он взял да и убежал. В местечке говорили, что во всем виноват священник, с сыном которого Сашка был дружен. Дескать, ходил к ним в дом, портился, портился и со временем испортился до того, что выкинул этот неумный фортель и воюет теперь на передовой.

Был он балагуром, шутником, слегка разгильдяем, а такие в окопах ценятся. Правда, за достоинства он однажды и пострадал. Прибыв как-то с донесением в штаб, Сашка решил перед обратной дорогой слегка вздремнуть — день выдался жарким, и бойца разморило. Только устроился в тенечке под деревом, подходит офицер: «Ты, брат, с передовой?.. Чего там у вас нового?.. Совсем ничего?.. Жаль... Да мы тут, корреспонденты, сидим и который день никаких новостей — ничего передать не можем, начальство ругается». А по всему фронту тогда действительно было затишье. Уснул Сашка, но его опять разбудили: пришел другой корреспондент. Потом — третий. Разговаривать с ними доблестному воину надоело, и он брякнул: «Фон Бока в плен взяли». Третий убежал. Потом приходили еще какие-то, может, даже первый и второй, переспрашивали, и Сашка, не открывая глаз, сквозь сон отвечал: «Взяли, взяли... Фон Бока... да». А корреспонденты бросились на узел связи, созвонились с Москвой, там проверили, сказали: дезинформация. И тут Сашку разбудили всерьез — двое автоматчиков. Объясняться пришлось в особом отделе. А он только и мог сказать: «Они спать не давали». «Что мне с тобой делать?» — спросил особист. «Отправьте домой, товарищ майор, в смысле на передовую», — попросил Сашка. «Опять шуточки? Отправлю, но сначала сортир вымоешь до полного блеска, а то эти корреспонденты все загадили». — «Разрешите выполнять, товарищ майор?» — «Выполняй. Потом доложишь мне — я проверю».

Война Сашкина протекала, на его взгляд, великолепно: всего три ранения, и те — легкие, он даже в тыловые госпиталя не попадал. И с перевязанной грудью, и с подвешенной на шею рукой, и с костылем дальше медсанбата не отлучался. Заслужил две «Отваги», «За освобождение» и «За взятие» городов и вывел название своей части непосредственно на Рейхстаге.

У Бориса баталия оказалась совсем иной: всегда при генерале, при теплых штабах, а уж наград — без счету. Но и Борис получил ранение. Обидное — в самом конце войны. Когда их танковая колонна вошла в очередной чешский город и Борис, сидя на броне рядом со своим генералом, готовился ловить букеты цветов, как это было доселе, кто-то открыл огонь. Командующий спрятался в люк, Борис вниз головой нырнул следом, однако карманы галифе у него были набиты всякими боевыми трофеями, и он застрял, так что нижняя половина туловища с дрыгающими ногами осталась над танковой башней. Вражеская пуля попала в такое место, что ранение сделалось вдвойне обидным. Бориса наградили орденом, какового у него еще не было, и отпустили домой. Пользуясь штабной связью, он разыскал младшего брата, и они договорились возвращаться на родину вместе.

Ехали в литерном поезде, в прекрасном вагоне, отдельном купе. Сашка пригласил офицеров и пировал, рассказывая без умолку байки и анекдоты, а Борис ничком покоился на верхней полке, с трудом опрокидывая подносимые стопари. Когда все разошлись и Сашка рухнул, чтобы уснуть, Борис похвастался, что везет с собой целый вагон добра. Свесив голову, он говорил про дворцы и замки, где размещался на постой генерал, про музейные ценности, антикварное оружие, напольные часы, обещал поделиться... Младшему брату это было совершенно неинтересно, и он захрапел.

На другой день празднование победы продолжилось: все так же сидели за столом офицеры, все так же лежал на верхней полке Борис. Он никак не возражал против гостей — гости помогали ему спуститься, когда настигала надобность. И вот в какой-то момент, когда Сашка из купе отлучился, офицеры стали обсуждать слух о проверке, которая будто бы ожидает всех то ли в Бресте, то ли где-то еще. Дескать, энкавэдэшники устраивают жестокий шмон, и даже один генерал уже лишился звезд всего за пульман трофеев.

Борис попросил снять его и потихоньку ушел в направлении хвостового вагона. Отсутствовал долго — часа два, так что о нем уже все забыли. Вернулся измочаленный, с двумя сабельками в руках. Сабли затолкали под стол, раненого подняли на полку, и все продолжилось своим чередом. Ночью голова, свесившаяся с полки, заплакала: целый вагон антиквариата пришлось опростать — всех здешних стрелочников до конца дней процветанием обеспечил! Младший брат, не выразив нисколько сочувствия, опять захрапел.

А в Бресте никакой проверки и не случилось.

Борис хотел застрелиться. Офицеры успели отнять наградной пистолет и спрятали его внизу — благо раненый самостоятельно не умел спуститься.

В общем, доехали сабельки да напольные часы, которые не удалось вытолкнуть из вагона по причине болезненности задних мышц.

После войны братья оказались в Москве: Сашка стал водителем автобуса, а Борис — хозяйственником в министерстве. На семидесятилетии старшего брата, когда вспоминали о войне и дошли до возвращения в литерном поезде, Сашка между прочим обмолвился, что это он и пустил слух про шмон. Борис долго смотрел на него с недоумением, а потом произнес:

— Зачем?

— Ты ж мне спать не давал: только глаза закрою, а ты про всякую ерунду.

— Ничего себе ерунда — целое состояние!

— Да пропади оно пропадом, — и зевнул.

И полились на него яростные стенания. Но Сашка недолго слушал, он сказал: «Спать охота», — и уехал домой.

ТРАНСПОРТ «ПОБЕДА»

На одном из островов Волго-Ахтубинской поймы жил бывший смотритель створных огней Степан Котов. Огни, правда, несколько лет назад перевели на автоматическую работу, и Котов жил теперь просто так. Числился сторожем аварийного топливного склада, но колхоз совсем уже перестал ловить рыбу, Котов извел солярку на разные свои нужды и ничего не сторожил, только числился.

Первая супруга его — невероятной красоты Екатерина, прожив со Степаном Николаевичем шестнадцать лет в любви и спокойствии, повесилась. Вешалась она и на десятом году совместной жизни, но тогда Котову удалось ее спасти, а тут прозевал: в бане парился. Перевез Степан уже холодную Екатерину в поселок, из города следователь примчался, начались допросы-расспросы, и все выходило, что между Катериной Ивановной и Степаном Николаевичем была большая любовь и согласие, и следователь опешил. Но фельдшер Бронза внес ясность, заявив, что она была «сумасшедшей шизофреничкой, отчего и мысли у нее были суицидальные». Он сказал: «с улицы дальние», и следователь, удовлетворившись, закрыл дело.

Протосковав год, Котов женился снова, и труда ему не составило: был он крепок телом, строг лицом, и когда появлялся на берегу в капитанской фуражке и шел твердой поступью уверенного в себе человека, бабы тыкались лбами в окна и разевали рты.

А приезжал Котов раз в месяц — получить на почте зарплату и газеты с журналами. Выписывал столько, сколько поселок скопом. Закупал еще продукты в сельпо и вновь исчезал. И в один такой вот приезд Степан присмотрел молодую смазливенькую Аленку, вдовствовавшую с зимы, когда муж ее, непрерывный пьяница, угодил на мотоцикле в промоину.

Аленка прожила месяц на острове — и расписались.

Был август. Степан Николаевич надел капитанскую фуражку с белым верхом.

И вновь, как много лет назад, гулял поселок. И в том же старом клубе. И гармонист тот же и все так же пьян. И, тупо глядя в пол, играл все те же переборы. Играл и врал, как много лет назад.

Пошли проветриться. Проходя мимо кладбища, Котов обернулся: «Кать! Скажи хоть что-нибудь!» Аленка тащила за руку, напирала толпа, освобождая внутри себя круг для «Цыганочки». «Кать! Не в обиде?» — И все пытался заглянуть поверх оград, чужих крестов, туда, где была и его — Катерины Ивановны — могилка, прислушивался, но не разобрал: Катерина всегда говорила тихо.

Началось прощанье-целованье, длилось долго. Некоторые мужики отвязывали свои лодки, заводили моторы — чтобы проводить новобрачных. Степан заспешил, поскольку был трезвее других, сразу завел мотор и, махнув рукой, оторвался от провожатых. А до острова — лишь Волгу переплыть. На казанке под «Вихрем» минутное, можно сказать, дело.

Ах, погода хорошая — солнце, штиль! Ни тебе мглы, ни облачка до горизонта. Ах, синее небо, зеленые берега!.. И завтра так, неделю еще, месяц. Но не вечно и астраханское лето: подует ветер, вывернет листья на деревьях, бело-холодно засверкают они под дождем — осень. И налетают бешеные ветра, и набегают волны, сначала серые, они скоро белеют от ярости и от метели, несущейся над ними.

В такие дни Степан Николаевич не выходит из бани. А если выйдет — побродит нагишом, остынет под снежным ветром — и на полок. И даже не смотрит на воду, потому что белые волны неизбежно шевельнут его память, и тогда благолепный покой сменится тягостным раздражением. А потому — лучше на них не смотреть, лучше — не видеть. Лучше — не вспоминать.

...Осенью сорок шестого года транспорт «Победа» попал на Каспии в шторм, потерял управление и

был выброшен в волжские плавни. Экипажу с невероятным трудом удалось покинуть судно — железный труп, по которому наотмашь, валяя с борта на борт, били белые волны. Все одиннадцать человек отчаянно пытались держаться вместе, но были разбросаны волнами, и тогда каждый мог полагаться лишь на себя. Штурман Власкин не мог. Прыгая с палубы, он оскользнулся, зацепил за край рваной обшивки, и на локтях у него повисли длинные лоскуты кожи. Влаcкин попробовал отгрызть лоскуты, чтоб они не задирались дальше и не мешали плыть, однако, хлебнув воды, отказался. Сжавшись в комок, он ловил момент вдохнуть и гадал единственно — в каком виде его выбросит на твердое: живым или умершим от холода?

Густой снег лепил не переставая.

Власкину повезло. Семнадцатилетний моторист Степка, который ходил первую навигацию, увидел штурмана, пробился к нему и через пятнадцать минут вытащил на какую-то твердь. Чужой, запуганный штормом сейнеришко искал, где потише, подобрал их и спрятался в лабиринте проток.

Первое, что узрел Степка, очнувшись, — мундир офицера НКВД. Офицер постоял несколько и ушел. Назавтра снова явился и зачастил каждый день. Сначала Степка волновался, рассказывая. Останавливался вдруг на полуслове, и офицеру приходилось даже трясти его за плечи, чтобы вывести из оцепенения. Но к концу недели воспоминания о катастрофе «Победы» перестали приводить Степку в ужас. Он машинально отвечал и машинально, просматривая, подписывал протоколы. Потом ему дали прочитать показания Власкина, который лежал в другом госпитале. Потом — судовой журнал.

— Ну, — весело сказал ему на прощание офицер, — не волнуйся и радуйся: у тебя чисто.

Но Степка не волновался и не радовался. Он безучастно смотрел в стену или в потолок.

Еще через два дня его навестил Мордвинов. Балтийский моряк, тяжело раненный в сорок третьем. Мордвинов кипел не растраченной в боях яростью, старался успевать всюду и, как говорили, «тащил на себе все пароходство», хотя и рядом с ним, и повыше было много других начальников.

— Ты, парень, молодец! Герой, настоящий моряк! Это я тебе сообщаю. И вот что: скорей выздоравливай, отремонтируем «Победу» — пойдешь на нее стармехом. А зимой направим тебя в институт — будешь учиться на капитана, понятно?

Степан, в котором за последние дни, кажется, кровь остановилась, ожил.

— Да-да, понятно, — растерянно бормотал он, стараясь приподняться на локтях и сесть, чтобы легче было думать и осознавать происходящее.

— Лежи, лежи, — успокаивал Мордвинов.

— Да как же? Как же так?! — И поплыло перед глазами — то ли напрягся сильно, то ли от восхищения, ведь дальше моториста Степан и в мечтах никогда не ходил, а тут — капитанство!

— Ну вот, брат, ты извини... Извини, брат, не думал я... А ты, вишь, повалился. Лежи уж.

— Что вы! — прошептал Степка, стараясь быстрее восстановить дыхание и снова открыть глаза.

— Извини, брат, я, пожалуй, пойду, отдыхай... Да, — вспомнил Мордвинов в дверях, — начальство будет предлагать тебе отпуск, ты, конечно, смотри... Как здоровье, то, се, но, — он поморщился, — сам понимаешь — людей, понимаешь, нет. Смотри, конечно...

— Ерунда все, — задыхаясь и не открывая глаз, улыбнулся Степан.

— Ну, в общем... а! — Мордвинов вышел.

С того дня, как Степка выбрал учиться на моториста, он ни разу уже не задумывался над собственной жизнью, считая ее навсегда и вполне решенной. То, что предложил Мордвинов, казалось ему неправдоподобным, сказочным. Это была уже жизнь какого-то совсем нового, незнакомого Котова. «Но если так, стало быть, во мне и сейчас есть что-то для того, нового, для капитана? — удивился он и обрадовался. — Какой отпуск тут? Ерунда!»

И вдруг холодная, спокойная мысль вывела его из забытья. «А почему... ерунда? Почему не поехать домой? — И снова жар подступил к вискам. — Ну зачем, кроме Мордвинова, есть еще какой-то начальник?» — успел подумать Степан и потерял сознание.

Через две недели Котов вышел из госпиталя. С кашлем, но врачи объяснили, что это бронхи, а что легкие, мол, в порядке.

Пошел к Волге, а там сильный ветер, и с кашлем туда не надо бы, но до бронхита ли, когда насчет будущей жизни соображения раздваиваются? Как-то приходил в госпиталь корреспондент, разбередил своими вопросами, и Степан устыдился: «Что же я? Струсил? В газете напишут: герой — а я? Нет! Видать уж, коли взялся за гуж...» Но тут Власкин умер. И в газете о Степкином подвиге не напечатали. И от этих событий — неизвестно, от которого больше, — Степка снова задумался и окончательно растерялся: оставаться латать «Победу», идти в плавание или... или уехать? И теперь он шел к пароходу спросить у него. «Победу» уже подремонтировали, и Котов, внимательно вглядываясь, то хозяйственно замечал, где надобно будет подправить, а то вдруг снова вспоминал белый шторм, побитые стекла, лопнувшую обшивку, беготню по трапу вверх-вниз, шлюпочную лебедку, с которой все соскальзывала нога и на которую наконец удалось встать, чтобы прыгнуть в белые волны. Волны белые, белый снег... Камыши то скрывались в пене, то обнажались до дна. Хорошо еще, что им с Власкиным удалось высмотреть руслецо без камышей — не запутались, не увязли в зарослях, как другие. Потом выбрались на островок, покрытый пеной, и Власкин сидел по пояс в пене, держал перед собой одеревеневшие руки, и прозрачными ремня-

ми свисала сорванная от ладоней до локтей кожа, а мышцы под тоненькой пленкой были синими. «Точь-в-точь промытая баранья ляжка», — подумал Котов теперь. «Пожалуй, уеду. Надо отдохнуть, — решил он, прощаясь с «Победой». — А вообще — чего ехать? Наотдыхался в госпитале», — и так вот еще подумал.

В пароходстве Степку ждала комиссия: начальство, кавторанг из военной флотилии и два сухопутных майора. Выражали соболезнования, благодарили за мужество, провожали на месяц в отпуск. «Я, конечно, — нерешительно возразил Степан, выискивая взглядом Мордвинова, — да ведь людей не хватает». Пароходские смотрели внимательно и серьезно — это у них не хватало людей, прочие из комиссии одобрительно улыбались: Степан им нравился и все правильно говорил.

Мордвинова не было.

— Ничего, ничего, — опуская глаза, сказал начальник, — товарищи вот решили, да и по инструкции положено... Съезди, чуток отдохни. Ты ведь из местных, кажется?

— Да, в общем недалеко.

— Ну, вот. А мы тут как-нибудь уж...

Поочередно пожимали руки, желали — Степан не слышал чего. Он ждал, не попросят ли остаться: надо, мол. И он остался бы. И наверное, с радостью.

Никто не попросил.

Потом он долго стоял на палубе буксира-колесника.

Если бы появился Мордвинов, Степан весело сказал бы что-нибудь вроде «от вас не скроешься» и сошел бы на берег. И тоже, наверное, с радостью. Буксир отдал швартовы и пошел себе, а Степка все всматривался в берег, все ждал Мордвинова, чтобы назад, хоть вплавь. Но буксир шел и шел, а Мордвинова не было и не было. Скрылись вдали купола астраханских соборов, поползли по сторонам пески, редкие дерева, и горько зарыдал Степан от обиды и облегчения. Понял, что никогда уже не быть ему капитаном и никогда уже не возвратиться на море.

Утром Котов вернулся в родной поселок. С подаренной моделью «Победы», на борту которой было выгравировано: «За героизм и мужество в морском деле». Геройский поступок поставил Степку чуть ли не в один ряд с теми немногими, кому удалось возвратиться с войны. И так же, как в свое время они, Котов спервоначала отсыпался, ходил по гостям и рассказывал страшное. Сообщал, что назначен на «Победу» стармехом, а там — институт, капитанство, свой пароход. И странно: когда говорил об этом, сам верил.

Родители Степкины перед самой войной умерли от холеры — болезни, которая испокон веку предпочитала здешние края многим другим. Пока парень учился в Астрахани, бесхозный дом его использовали под разные нужды: сначала в нем размещался штаб, руководивший «подборкой» — выловом трупов, сплавлявшихся из-под Сталинграда; потом в доме жили эвакуированные, а после войны расположился магазин. Так что теперь Степке пришлось поселиться в рыбацком сарае. Спал он на верстаке. Кругом валялась щепа, обрезки фанеры, чернел в углу разбитый, замасленный дизель. Гнилая, пахнущая рыбой сеть свисала клочьями с длинных гвоздей из-под потолка.

Бессовестно было отдыхать в такое тяжелое время, а герою — тем более, и Степа занялся баркасом, над которым давно уже бились поселковые мужики. Движок был хороший, трофейный, но автомобильный, и система охлаждения к плаванию не годилась. Напаяв железные кожуха, две трубы — водозаборную и сливную, установив крыльчатку — насос, Котов приспособил двигатель к судовой жизни и сразу стал Степаном Николаевичем. Артель просила его остаться, но Котов не отвечал.

Ночью, при свете коптилки, надев капитанскую фуражку с крабом, он сидел на верстаке и рассматривал свое отражение в оконце. Там, за стеклом ходовой рубки «Победы», капитан Котов нес ночную вахту. Сдвинув брови, втянув ни разу еще не бритые щеки, строго всматривался в коварную — он это знал — даль моря, и судно верным ходом шло вперед сквозь шторма. Сквозь белые шторма.

Тяжело было отказаться от мостика.

Но когда поутру пришли мужики и Котов увидел нацепленные для важного разговора медали, не сопротивляясь, он согласился принять этот самый, отремонтированный, баркас.

Четыре навигации без выходных и без праздников ходил он за рыбой. Попадал в шторма — на Волге не такие, конечно, как на Каспии, но случались и белые. Тогда Степан Николаевич бледнел лицом, холодел сердцем и, судорожно сжимая штурвал, тащил баркасишко, боясь не столько шторма, сколько самой боязни: стыдно и страшно было видеть трусость свою.

Зимой — подледная ловля сетями и ремонт судна. И тоже без праздников, без выходных. Потом стало легче, даже отпуска появились. И в первом же отпуске, чуть отдышавшись, Степан женился.

Жена его Катерина была из «вакуированных», но после войны не уехала, как другие: отец на фронте погиб, мать умерла здесь в сорок четвертом, дом в Ленинграде был разрушен бомбежками — куда ехать? Степка, вернувшись из Астрахани, сразу заметил, какой красавицей стала девчонка, и сразу влюбился. Катерина тоже привязалась к нему, но не у верстака же им жить? Наконец терпение Степана иссякло. Рассудив, что самое тяжелое для народа время прошло и он, капитан Котов, трудом и геройским поступком заслужил право на улучшение жизни, Степан попросил у колхоза дом. Нового не построили, но комнату в заколоченном клубе дали.

Это была первая послевоенная свадьба. Весь поселок, конечно, в клубе не уместился, гуляли около.

Пели, плясали, пили кто что принес, кричали «горько!», и было в диковинку всем — увиденное впервые — и свадебные поцелуи, и подвенечная, пусть сшитая из занавески, фата. И без стыда все ждали ночи, и наперебой просили: мальчика, девочку — все равно кого. Он всем был нужен: новый, отделенный от войны человек.

Через год родился ребенок.

К тому времени Степан перебрался на остров: завистливые бабы притравливали Екатерину: и худосочна, и деревенского хозяйства не знает, и больно уж молчалива — словом, «мужику в тягость». Тут как раз установили створные знаки, бакены, потребовался грамотный человек, знающий радио и азбуку Морзе, — Котов, поколебавшись, словно жалко было ему расставаться с баркасом, согласился, но лишь «на время», пока не подберут «нового кадра». Внутри самого себя Степан Николаевич прочно утвердился капитаном транспорта «Победа», им — смотрел на людей, на проплывающие пароходы, им — ступал по земле, а фактическое свое отклонение от капитанства считал временным, вынужденным, из-за большой любви к Екатерине и был тем вполне доволен. «Вот уж когда все утрясется...» — а что должно было «утрястись» — Степан не домысливал. И на остров перебрался вроде бы для того, чтобы оградить Екатерину от неправильных толков, остров ведь подальше от берега, от людей.

Хотя, как ни странно, и от штормов тоже.

...Роды начались по пути через Волгу. Степан бросил весла и придерживал Екатерину, которая корчилась на дне лодки и могла вывалиться за борт. Течением отнесло в сторону от поселка. Котов развернул на песке брезентовый плащ и уложил жену. Весь его акушерский опыт сводился к воспоминаниям о подсмотренном в детстве рождении ягненка. Ничего толком не вспомнив, махнул рукой и развел на всякий случай костер из плавника: холодно было, дождь пошел. Потом сообразил согреть воды — по счастью, в лодке была жестянка для вычерпывания. Оставив жене всю свою одежду, кроме исподнего, побежал в поселок. Когда воротился — в брюках, ватнике — с фельдшером Бронзой и двумя бабами, костер уже догорел, воды в банке не было, Екатерина беспамятствовала или спала, прижав к груди завернутого в окровавленные мужнины тряпки ребенка. Котов отвернулся. Люди суетились над Екатериной, ребенок закричал, но как-то слабо. Потом перестал вовсе. Отброшенная фельдшером пуповина угодила Котову под ноги и в мгновение из розовой стала серой.

Происходящее так потрясло Степана и настолько ужасным показалось, что, когда Бронза, положив руку ему на плечо, сообщил, что ребенок умер, Степан только кивнул. Ему уже безразлично было, лишь бы поскорее уйти. Забрать жену и уйти. А брезент, шмотье, банка — пусть все остается. И пуповина, и сам ребенок, из-за которого, собственно, это и...

Через два года снова родился мальчик. Радости как будто прибавилось. Правда, иногда по ночам, баюкая сына, Екатерина тихо, чтобы не слышал Степан, вздыхала: «И зачем ты родился? Какая ж тоска тебя ждет!» У Степана во рту становилось горько от ощущения своей вины, но глаз не открывал и продолжал дышать ровно, как спящий. Он объяснял себе, что Екатерина грустит от усталости и прежней тяжелой жизни, и быстро успокаивался.

Но дело вроде бы шло на лад: супруга повеселела. И, проснувшись однажды светлой летней ночью, Степан увидел ее в петле. Удалось спасти.

Фельдшер Бронза, подумав, спросил: «Может, не удовлетворяешь?» — «Дурак ты», — ответил Котов и решил, что надобно отвезти Екатерину в город к хорошим врачам. Но жена сказала, что это было случайно, так, и к врачам ехать необязательно. Степан согласился. «Может, вообще ее увезти куда-нибудь в другие края, жизнь другую начать?» — спрашивал он у Бронзы, чувствуя, что это — самое верное дело, что надо бы увезти, что жить надо бы по-другому, пошустрее, что ли. Но на всякий случай спрашивал, ища поддержки.

— От себя не уедешь.

— И это правильно, — легко соглашался Степан.

Шло время. Екатерина становилась грубее, потяжелел взгляд, но приезжавшие на остров рыбаки обнаруживали все ту же тихую семейную жизнь. Жена спокойно управляла хозяйством, муж парился в бане или разгадывал кроссворды, из-за которых единственно он и выписывал газеты с журналами. Сынишка вырос, отправили в интернат. Мать часто навещала его, хотя теперь бабы разве до рукоприкладства не доходили, а так все перепробовали: ведь теперь Екатерина числилась д у р о ч к о й. Да еще и лучшего жениха увела, и жизнь ему портит...

Как-то причалили праздные московские рыболовы — спрашивали местечка, чтоб народу никого и чтоб порыбачить вволю. Степан обедал. Пригласил к столу, обещал вечером, как зажжет бакены, отвезти в хорошее место. Один — по виду бывалый — бородатый мужик все расспрашивал да расспрашивал, остальные, наскоро перекусив, занялись снастями. Екатерина разговорилась, и Степан удивился внезапной ее живости и веселому их разговору. Она беседовала с «бородой» о том о сем, и они легко понимали друг друга и не договаривали фраз. И Степану казалось, что говорят на чужом языке. Обидевшись, он встрял, перевел разговор на «моряцкую» тему, небрежно сообщил, что ходил на большом корабле, попал в передрягу, выкрутился, но вообще ему «это дело не очень понравилось. Волны, понимаешь, снег... Все белое, понимаешь. Ничего, конечно, особенного. Дело, можно сказать, плевое, но так — не понравилось. И домой потянуло», — смущенно улыбнулся Степан, но по глазам «бороды», слушавшего с настороженным интересом, заметил, что тот все понял насчет «плевого, непонравившегося де-

ла». «Тут как раз Катька... Ну, мы и поженились», — и обратился к супруге за поддержкой. Но встретил скорбное изумление, словно ее поразила какая-то внезапная мысль, какое-то предположение, открытие. Екатерина долго смотрела на мужа, сначала пристально, а потом взгляд расслабился и ушел сквозь. Стушевавшись, Котов встал вроде бы прогуляться. А когда возвратился, обнаружил компанию, живо беседующей с Екатериной. И снова про непонятное.

«Ну и жена у тебя, капитан! — шутливо завидовали приезжие, спускаясь к берегу. — И умница, и красавица. Повезло, брат, тебе!» Котов довольно улыбнулся и предупредил: «Денег не давайте». Сели в казанку, завели мотор. Когда подъехали, Степан Николаевич заметил, как «борода» что-то шепнул одному, и тот сунул Котову бумажку: «За перевоз». — «Не надо, — буркнул Степан, — я же предупреждал... Спасибо», — и отчалил. «Пригодится, конечно», — рассмотрел он бумажку. И сплюнул — было противно.

Прошло еще несколько лет. Екатерина прожила их в молчании и задумчивости или — как объяснял Степан — в спокойствии и любви. И повесилась окончательно. Наверное, ее и на этот раз можно было спасти, несмотря на то что Степан долго парился в бане. Но был праздник. «А по праздникам, — как тихим голосом сказала однажды покойная, — полрайона в канаве валяется». И фельдшер был в этой половине как раз. Котов с криком влетел к нему. Выслушав, Бронза пробормотал: «А что я тебе говорил? Что?! Эти, ежели задумают... то непременно. Непременно!.. Медицина, брат, это... Я тебе говорил? Медицина — это...» — и пригрозил Котову пальцем.

Милиционер был из другой половины, но вернуть Екатерину к жизни никак не умел. Спустился к лодке, глянул мельком, запретил дотрагиваться и побежал звонить следователю. Так закончилась семейная жизнь Степана Николаевича Котова с Екатериной из «вакуированных», которую он очень любил.

И вновь на острове благодать и спокойствие, словно бы ничего не произошло. Поселок, в прежние времена неустанно жалевший Степана за его «испорченную дурочкой» жизнь, тоже затих, успокоился. Поговаривают иногда некоторые, мол, не все просто в этом деле и что Екатерина вовсе не была дурочкой, — да кто ж их послушает? Кто будет трогать мысль, слежавшуюся и окаменевшую?

А Степан Николаевич с утра залезает в баньку. Попарится, а в предбаннике журналы с газетами — кроссвордики дожидаются. Насчет кроссвордиков Степан Николаевич мастак. Есть у него специальная амбарная книга со списками «столиц европейских государств, областных центров России, созвездий, звезд, притоков Енисея, композиторов, государств в Африке, химических элементов и прочего» — ни один кроссворд дольше десяти минут не продержится. Алена чаек ко времени принесет, ко времени стопочку. Течет жизнь, растекается, утекает... Пожалуй, только однажды и всполошилась, да и то ненадолго. Это когда сын поступал в речное училище, недобрал балла и попросил отца приехать помочь — будто бы директор, некий Мордвинов, сыновьям речников оказывает снисхождение. Алена положила в маленький чемоданчик модель «Победы», приготовила праздничный костюм, но Степан, поначалу собравшийся ехать, обдумал все как следует на банном полке и вдруг возразил: «Пусть сам пробивает себе дорогу! Мы-то — сами!» — и не поехал. Он представил на миг встречу с Мордвиновым, представил, что тот все вспомнит и все поймет. «Оверкиль... Тридцать лет жизни — вверх дном!.. А-а-а!» И, задыхаясь, бросился из баньки наружу.

— Что с тобой? — выбежала на крыльцо Аленка.

— Так, — взял себя в руки Степан, — со зла.

— Что «со зла»?

— Да из-за парня... Пусть сам пробивает себе дорогу. Мы-то — сами!

— Как скажешь...

Аленка соглашалась со всем, что говорил муж. Лишь в первое время пыталась дознаться: что ж это здоровый мужик не займется серьезным делом? Степан отмалчивался, отшучивался, но раз не выдержал, психанул: «А у меня дело, может, посерьезнее, чем у других! Я, может, секретные корабли заправляю, понятно?» — «А чем заправлять-то — в бочках пусто?» — «А может, я, — Степан от гнева разбрызгался слюной, — может, я... атомом?!» И сам опешил от придуманного, но Аленка смутилась. «И рацию чтоб каждый день протирать!» — увлекся Степан.

С тех пор жена не спрашивала его о работе, рацию протирала, хотя к ней давно не было аккумуляторов, и вообще — согласилась на спокойную, бездельную жизнь — скучно, конечно, но все безопаснее, чем с прежним мужем.

Сын, не поступив в училище, попал в армию, отслужил и остался на сверхсрочную прапорщиком. Изредка присылает казенного содержания письма.

Дошел слух, что «Победу» списали. «Ну вот и отплавались, — вздохнул Степан, словно груз с плеч свалился, — можно и отдохнуть». Но вместе с легкостью пришла холодная опустошенность. Иногда Котову кажется, что его уже нет, что он давным-давно умер.

ЧУРКИН-ГЕРОЙ

В сообществе типографских рабочих газетные печатники всегда существовали словно бы самостоятельной, отдельной жизнью. Главные причины тому — неизменно ночная работа и высокая напряженность труда. Конечно, и другим полиграфистам перепадают ночные смены, но то — перепадают, а

печатающий газету на них обречен. Если упомянуть еще вой и грохот ротационной машины, насыщающую воздух взвесь из бумажной пыли и мельчайших частичек краски, станет ясно: работа эта тяжелая. Плюс к тому требует мастерства — газетного печатника вдруг не выучишь, не подготовишь, навыки копятся годами.

В своих типографиях газетных печатников знают мало, да и сами они плохо представляют, что делается на предприятии днем. Ночная жизнь других типографий им ближе и понятнее, и ротационеры-асы, где бы они ни работали, друг о друге наслышаны, даже если никогда не встречались. То есть это — особый мир, он невелик, и занимательные события, случающиеся в его пределах, быстро становятся общим достоянием.

Вот и Чуркин в этом мире некогда был известен, хотя он и не ас вовсе, и даже вообще не печатник: за долгие годы он так и не сумел обучиться ответственному ремеслу. Впрочем, и не пытался — не хотел: первый этаж его, кажется, вполне устраивал. Первый этаж — вотчина подсобных рабочих, машина здесь оснащается подающимися со склада ролями (именно бумажный роль, а не рулон — странно было бы называть рулоном монолит весом в тонну). Печатник с помощником располагаются на втором этаже. Величественные агрегаты эти состыковываются в ряд и образуют цех газетной печати.

Но и на первом этаже Чуркин не слишком усердствовал — не раз бывало: роль израсходуется, а нового нет — где подсобный рабочий? Поищут, поищут и найдут в каком-нибудь укромном местечке — спящим. Другого за нерадивость давно бы прогнали, но Чуркина выручала искренняя готовность покаяться и всегдашняя доброжелательность буквально ко всем — качества чрезвычайно редкие и оттого особенно притягательные. И потому его хотя и журили почти беспрестанно, но не наказывали. Сколько лет Чуркину, никто не знал, да и про семейную жизнь его ничего толком известно не было.

И вот однажды заглядывает в цех главный редактор, остановился у двери, поднял ладошку к плечу и сложил пальчики в куриную гузку — поприветствовал, значит. Смотрят печатники на него — экий случай: впервые удостоил их главный своим посещением. Это прежний редактор, бывший фронтовой корреспондент, не боялся испачкать костюм — ходил по цеху, пожимал руки, а в новогоднюю полночь приглашал печатников в свой кабинет, чтобы поздравить и угостить крепким напитком. И лишь после этого уезжал домой.

Подошел мастер к главному — тот ему что-то на ухо покричал, да в ротации кричи, не кричи — все равно ничего не слышно, народ знаками изъясняется. Ну и поскольку знаков этих главный не понимал, ушли на переговоры. Возвращается мастер: «Чуркина!» В общем, выяснилось: братское по тем временам государство наградило Чуркина орденом — давно, еще в сорок пятом, а Чуркин, стало быть, воевал, и вот: «Награда нашла героя» — заметочку с таким названием сами же на другой день и публиковали.

Стал Чуркин собираться в братское государство, да одежки подходящей у него не нашлось. Ну, выписали на десятерых материальную помощь — одели, обули героя, и является он наряженный и при всех своих орденах и медалях. Глянули мужики, а среди них и фронтовики были, и ошалели: под тяжестью наградного металла пиджак с Чуркина натурально сползал на один бок и плечо в воротник высовывалось. Механик — светлая голова — сообразил приспособить добавочные подтяжки: сзади они к брюкам пристегивались, а спереди — к внутренним карманам чуркинского пиджака. Получалось, правда, что теперь брюки без пиджака и пиджак без брюк снять было невозможно, а это могло привести к неожиданным последствиям, но: «Терпеть буду, — обещал герой. — Виноват...»

Съездили они — редактор за компанию тоже ездил, — привез Чуркин из братской державы крест с полосатой ленточкой, обмыл его, как полагается, и уже в следующую смену уснул на складе. И вдруг опять: «Чуркина!»

Теперь уже не совсем братская, хотя и дружественная, держава нашла его со своей наградой, пылившейся с тех же отдаленных времен, — помогли газетные сообщения о предыдущей поездке.

— Чего же ты там насовершал? — спрашивают его ребята.

— Виноват, — говорит Чуркин. — Не знаю... У нас там машина поломалась, тягача ждали... А эти прибежали какие-то... мол, фашисты у них в городке. Ну, пошли, четверо нас было... А там — солдаты, офицеры... Ну, мы им: война кончилась, а они... Ну, выбили их... Потом еще какие-то пришли: то же самое... Сипягин тогда погиб, младший сержант, изпод Тамбова...

Костюм был пока в целости, подтяжки тоже, так что снарядили храбреца прытче прежнего. На этот раз привезли они с главным редактором куда больший крест, правда, без ленточки.

Редактор уговаривал Чуркина «подняться повыше» — предлагал место председателя профсоюзного комитета.

— Зачем? — отметал Чуркин его предложение. — На жизнь хватает.

— Какие-то запросы у тебя ограниченные.

— Виноват.

— В том месте, где мы были, — замечает редактор, не без мечтательности, — и третья страна недалеко. А та страна, к слову сказать, резко недружественная. Может, ты и тамошних жителей освобождал?

— Может, и тамошних, — соглашается Чуркин. — Виноват. Тягач нам только через неделю при-

слали, так что не один раз хаживали, виноват... Потом еще и Гуськова убило — из Архангельска он, из самого. А эти позовут — мы и идем, а кто они? Мы ж языков не знаем, только что: «Фашисты, фашисты», — ну, мы и идем... Так что виноват: может, и еще в какой стране были...

Но в недружественную державу Чуркина не пригласили, да и вообще он вскоре оказался в казенном доме: его обвинили в ограблении табачной лавки и последующем поджоге ее с целью сокрытия преступления. При всех наградах своих Чуркин был человеком столь малозаметным, что никто за него и не вступился. Впрочем, один разок главного потревожили: он куда-то вроде бы даже позвонил, но сказал: «Глухо».

Год спустя выявилось, что Чуркин не подпаливал и не грабил, наоборот — старался погасить пожар и спасти сигареты, которыми торговала его родственница. Она же что-то там и похитила, потом, как водится, подожгла и в конце концов свалила все на безответного Чуркина, а он, к вящей радости следователя, на все вопросы отвечал: «Виноват...»

— Зачем он нужен был тебе, этот ларек? — спрашивали ребята, когда Чуркин приехал восстанавливаться в типографии.

— Прибежали: горит, мол, я и... Виноват, конечно же, знаю...

Однако на работу его больше не взяли: главный подарил ему «Историю Великой Отечественной войны» и тихо выпроводил на пенсию.

НАВОДНЕНИЕ

Переполох случился неслыханный: весь день между Нижним Спасом и деревнями, стоявшими подальше от реки, сновали под дождем телеги, тележки и машины — народ развозил добро по родственникам и знакомым. Цапкин эвакуироваться не стал.

— Не верю, — говорит, — чтоб из нашей Ворчалки стихийное бедствие приключилось. В ранешни времена бывало такое? Хоть, к примеру, паводок взять, хоть половодье: у меня — до бани вода дойдет, а дальше не подымается. А чтоб огороды позатопило, тем более дома залило — не верю. Да у нас и во всем районе воды столько не сыщешь.

— В ранешни! — возражали собравшиеся у него на крыльце мужики. — В ранешни всемирного потепления не было, а теперь...

— Дело хозяйское, — отмахнулся Цапкин, — мотайте, а мы с Петровым чихать хотели.

Имя егеря повергло мужиков в тягостное смятение: Сашка Петров — человек серьезный, не то что балабол Цапкин. В молчании докурив цигарки, нижнеспасовцы побрели грузиться дальше.

Петров в это время плавал в лодочке по затопленным рощам, отыскивая угодивших в беду зверей. Однако оттого, верно, что вода нынче разливалась медленно, зверье успело поразбежаться, лишь еноты опозорились. Ну, тем простительно, те спросонок, ведь шел декабрь: уж и снегу нападало, и Ворчалка замерзла, и вдруг — на тебе, дождь! Да еще как зарядил! Сидели теперь еноты на островках возле затопленных нор, мокли. Лодку увидят, забегают туда-сюда, но в воду лезть не хотят — зябко. Конечно, рычат на человека, зубы скалят, но Сашка их без счету перевидал, не церемонится. «А ну!» — как рявкнет! Некоторые сразу и падают. Другим приходится добавить пинка, но не сильно, чтоб без телесных повреждений: шмякнешь его для острастки, он — брык — и вроде как околел. Бери его за шиворот, делай что хочешь.

Пятерых затолкал Сашка в мешок, шестой не поместился. Пришлось положить его прямо на стлани, а на морду ушанку надеть. Плывет лодка, покачивается, уключины скрипят — страшно енотам, не шевелятся. Если вдруг и заворочается какой, Сашка притопнет: «А ну!» — и мешок вмиг цепенеет. А тот, который на стланях, знай себе мордой в шапку тычет — прячется, стало быть. Выбрал Сашка берег повыше, выпустил зверей — они и поплелись кто куда: искать незанятые норы, рыть новые. Сашка же дальше поплыл и уже в сумерках обнаружил енота огромного — прямо-таки баран-рекордсмен, разве что на коротких ногах. Тот сам в лодку прыгнул. Тоже, однако, чтобы не колобродил, пришлось в мешок засадить.

Домой егерь вернулся вечером. Развязал мешок и выпустил на пол енота. Жена испуганно вскрикнула, и енот свалился без чувств.

— Вот, Татьяна Борисовна, — устало сказал Петров. — Дикий зверь, и тот, как только увидел вас, так и окочурился. Каково же мне с вами бок о бок столько лет жить?..

— Зачем ты его принес, Саша?

— Да берега, понимаешь, твердого в темноте не нашел — все вода, вода, ступить некуда.

— Ну так деревню-то отыскал?

— Отыскал. Хотел выпустить, а тут собак понабежало... Изорвали б в клочья. Пусть в сарае переночует, отнесу его завтра куда-нибудь.

— Ой, отнеси, Саша, уж больно страшный...

За ужином, когда Сашка Петров смотрел программу «Время», явился Цапкин — «полюбопытствовать, не скажут ли чего по телевизору насчет наводнения».

— Твой-то сломался, что ли? — спросил у него егерь.

— На чердак перенес. Бабы бают, что ежели кто не предпримет, стало быть, действия... для спасения добра... ну, имущества... тому могут и страховку не выплатить. Вот я маленько и... Для порядку... Не так, как остальные, конечно... По другим деревням не повез, но на чердак... Вроде как... Ну вот! Вот оно, гляди, наводнение-то!..

— Так то ж в Америке... Понял?.. Штат Колорадо!

— Ну и что, что в Америке? Не слыхал, как погодный мужик рассказывал?

— О чем?

— Теперь все глобально!

— Ты чего, Цапкин? Хочешь сказать, что этот вот разлив и до нас докатился?

— Ну!.. Жук колорадский, он тоже оттуда, а картошку нашу жрет. В общем, ты как хочешь, а я пойду действия предпринимать. По спасению.

Выйдя в сени, он вдруг обернулся:

— Больше всего мне наша молодежь нравится! Тут такое творится, а они в клуб подались. Мой говорит: «В гробу я видал твое наводнение, у меня дискотека сегодня». Раньше за эти танцульки отец мне под зад давал, а теперь: «дискотека»... Вроде как чего-то серьезное, не моги помешать! Тьфу! — И ушел.

Поужинав, Сашка завалился в постель, жена убрала со стола и мыла посуду.

— А что, Татьяна Борисовна, у вас, поди, тоже сердчишко екает? — спросил задремывающий супруг.

— Из-за чего?

— Да из-за наводнения.

— Была нужда... Ты-то не боишься. — Она перестала греметь тарелками.

— Не боюсь, дорогая Татьяна Борисовна, нисколечки не боюсь: дождь скоро кончится — воздух сегодня стынью пахнет.

— Ты мужикам-то говорил?

— Сказал Цапкину, да что толку? Какие-то все опасливые стали.

— Так добра-то все сколь понакопили — вот и боязно за него, — объяснила супруга, но Петров уже спал.

Проснулся он по охотничьей привычке рано. Глянул в окно: дождь перестал, в разрывах облаков сияли кое-где звезды, на белом шифере цапкинской крыши чернела привязанная к трубе надувная лодка. Быстро позавтракал и пошел в лес определять большого енота.

«ВОЛК»

В тихом степном селе где-то на южной равнине, доживал последние дни Серёжа. Лет ему было много, и покидали силы — самое, чтоб помереть, подходящее время.

Проснувшись с солнцем, вежливо будил он своего постояльца Исаева, и они усаживались завтракать.

Потом Серёжа выходил во двор, приваливался к верстаку и, устремив подслеповатый взор в бескрайнюю даль, глубоко вдыхал прохладный утренний воздух. Вскоре, толкнув дверь, являлся Исаев, осматривал автомобиль, садился за руль и, слегка прогрев двигатель, рвал с места. Пахло бензином и потревоженной пылью. Дед по-прежнему смотрел куда-то в даль, где его слезящиеся глаза уже ничего не видели, но где и видеть-то, кроме степи, было нечего.

Наконец Серёжа брал в левую руку зубило, в правую молоток и принимался за работу. Работа его — дотесать каменное дерево — была несложной, если бы деду вдруг не взбрело сделать кору на манер ивовой — в глубоких бороздках, которые для придания серому граниту черноты — полировались. От такого добавления работа затянулась, но теперь уже подходила к концу: оставалось лишь поправить и отполировать последнюю бороздку.

К полудню, когда жара становилась нестерпимой, Серёжа снимал рубаху и оставался под солнцем — загорелый, с узкой выпуклой грудью, такой тощий и жилистый, что казалось не мышцы, а струнки под кожей, звеняще натянутые. Постепенно руки старика, грудь, лицо покрывались налетом белой каменной пыли, а в ямках за ключицами собиралась гранитная крошка.

Исаев тем временем мотался по округе, объезжая действующие и заброшенные карьеры, где работали его техники-лаборанты, и возвращался домой поздно вечером, а после ужина долго еще сидел у лампы, рассматривая образцы.

В такие минуты Серёжа неизменно наблюдал за ним и в ожидании разговора предавался размышлениям. Поначалу Исаев не нравился ему: и молчаливый, и очень поспешный... Серёжа не встречал таких дёрганых и торопливых людей. К примеру, вспоминал паромщика Лёньку, как тот, свесив ноги, сидит с удочкой на понтоне, голова набок, дремлет, уклею ждёт. Или участковый Семёнов: подойдёт к плетню, облокотится и смотрит, как Серёжа камушек обрабатывает. И смотрит себе, и смотрит. И пусть. А постоялец? Вот он теперь держит в руках кусок руды. Глазищи исподлобья, веки дрожат от напряжения, под глазами кожа сине-жёлтая, мешками висит от глядения эдакого да от недосыпания еще. А всё спешит, спешит. И сейчас спешит. Повертит образец, отбросит, схватит другой и ну его глазами царапать! Не нравилось это Серёже: «Хищность...»

Грешно было сравнивать человека со зверем, и смущался старик, но, глядя на постояльца, всё куда-то спешившего, всё беспокойного, то настороженного, то яростного, — другого слова не находил: «хищный» взгляд, «хищные» движения, и как ходит, и как хлопает дверцей машины, и как с места берёт — «хищность»...

Но со временем узнал Серёжа от постояльца, а больше от своих земляков-приятелей, о работе геологической партии, о поисках редких металлов, которые нужны были ракетам, спутникам, самолётам, и понял: это другая жизнь, торопливая, новая, и в

ней, соответственно, требуется новая быстрота. И, наблюдая за постояльцем, старик думал теперь о нем без неприязни: другая жизнь!..

Но пришёл час, когда Серёжа, бросив на верстак зелёную от полировальной пасты фланельку, сказал: «Шабаш». Садилось солнце, и над селом висели красно подсвеченные облака. По главной улице возвращалось с купанья стадо гусей. У каждого огорода останавливались, просовывали в плетень длинные шеи и, щипнув травы, шли дальше, степенно, неторопливо. «Шабаш», — тихо сказал Серёжа, глядя на сооружение.

Это был полутораметровый комель старого дерева, сантиметров двадцать в диаметре, с четырьмя коротко обпиленными сучками в верхней части. Срезы ствола и сучьев были отполированы. У основания чернел вытесанный квадрат с православным крестом, фамилией деда, датой рождения и чёрточкой, за которой пока оставалась гранитная гладь. Основание представляло собой полуметровую пирамиду, расширяющуюся книзу — это шло в землю.

Наутро памятник обмотали одеялами, привязали к нему с одной стороны доску. Исаев снял с «уазика» брезентовый верх, подогнал машину к верстаку, и с помощью верёвок аккуратно опустили творение в кузов. Постоялец хотел уже ехать, но Серёжа, взглянув на солнце, попридержал: «Рано». Дед договорился с участковым насчёт подмоги. Тот обещал двух «пятнадцатисуточников», но мужики с утра отбывали основную повинность и в распоряжение старика поступали только с обеда.

«Ну что ж, — Исаеву не терпелось поскорее разделаться с памятником и мчаться на буровую передвижку, — придется ждать». Пошли в хату. Серёжа накрыл на стол.

— Может, выпьем? — робко поинтересовался старик.

— Не хочу. Мне ещё сегодня работать. Да и жарко.

Потом Исаев погнал машину по разбитой дороге. Дед боялся, что камень треснет, просил ехать помедленнее, геолог только кивал в ответ.

Свернули на пыльный проселок и вскоре оказались посреди окаменевшей рощи. «Ничего себе!» — изумился геолог. Дед попросил остановиться, вышли. Пока Серёжа, посматривая то на землю, то на солнце, прикидывал что-то, Исаев гулял. Это был фантастический лес! Какие только деревья здесь не водились: обпиленные и обломанные, мелколесье и толстые пни, низкие и высокие, гладкие, как молодая берёза, и щербатые, как вековая сосна...

— Дед! А грибы случайно здесь не растут?

Серёжа молча отмерял шаги.

— И кто же это придумал, дед?

— Полячонок, — указал рукой.

Исаев прошёл взглянуть. На белом с крапинами березовом стволе гранит-порфира стояла польская фамилия и ниже — даты столетней давности.

— От чахотки помер, — сказал Серёжа, — почуял, что умирает, срубил и помер.

Исаев полюбопытствовал, все ли каменотёсы сами рубили себе памятники. Оказалось, почти все. Кроме погибших от обвалов и других внезапностей бытия. У этих не деревья были, а просто плиты, положенные роднёй.

Наконец Серёжа обвел квадрат. Достав из машины лопату, Исаев быстро выкопал неглубокий шурф с тремя вертикальными стенками и одной пологой, чтобы опускать дерево. В это время подошли мужики. Поздоровались, сели перекурить. Из разговора Исаев понял, что оба работали перфораторщиками в рудоуправлении, выпили, разодрались, а теперь отбывают краткосрочное наказание. Мужики были дюжие. Легко стащили памятник наземь, распаковали, и камень по доске сполз в ямку. Засыпали основание. Исаев предложил мужикам в машину, те отказались: «Надо доделать».

— Что доделать?

— Могилку.

— Какую могилку?

— Ну как же? — удивились мужики.

Серёжа рассеянно улыбнулся.

Потерявшийся Исаев сел за руль и нерешительно тронулся с места. До сих пор он полагал, что камень — это так, загодя, наперёд, и не придавал значения дедовым разговорам, а теперь в нём шевельнулось предчувствие реальной беды. Тупо глядя перед собой, он вел автомобиль на первой скорости и машинально поправлял руль, чтобы не свалиться с дороги. Серёжа, свесив голову за окошко, вдыхал ветерок, и сердце его переполнялось детской, счастливой беззаботностью.

Дома, подойдя к столу, Исаев очнулся. Схватил образец, повертел недолго и, забыв про всё, стал вдруг обычным, прежним. Он рассматривал образцы через увеличительное стекло, стучал по ним маленьким молоточком, царапал ножом, наносил краской какие-то цифирки, писал в тетради — и всё это торопливо, порывисто.

Возвращаясь теперь с работы, постоялец заставал в доме гостей — каждый день кто-нибудь приходил прощаться со стариком. А однажды, подслушав болтовню на карьере, понял, что о предстоящей дедовой смерти говорят совершенно спокойно, и, оказывается, есть даже рабочий, который должен будет выбить на камне вторую дату.

Исаева ошеломило. Он набросился на Серёжу: «Как можно? Зачем сдаваться?» Он говорил: «Пока есть силы, необходимо работать. Жизнь слишком коротка, чтоб добровольно отдавать хоть день! Хоть час!»

Старик смущённо улыбался в ответ. Ведь Исаеву не понять, ведь он был из другой жизни.

— Надо работать! Работать!

— Не надо, — спокойно улыбнулся старик. — Я уже всё свое отработал.

— Бред... Идиотизм какой-то... Столько радости на земле... — Исаев пожал плечами, не найдя, что сказать дальше.

Ах, сколько радости на земле, сколько света! Серёжа знал. Серёжа много чего подобного знал и улыбнулся в ответ.

Теперь время от времени дед давал разные указания, как и что делать Исаеву, когда тот останется один в хате: у кого спросить молока, где взять дрова для печки, кого позвать, когда старик умрёт... Исаев эти разговоры приводили в бешенство, но, сдерживаясь, он принимал их к сведению. А старик между тем стал вовсе плох. Лежал себе на топчанишке и медленно расставался с жизнью. Как-то утром, подойдя к деду, Исаев попробовал пульс — едва прослушивался. «Что ж делать-то?.. Надо же что-то... Врача надо, нельзя же, чтоб человек вот так вот на моих глазах...»

Помчался в рудоуправление, нашёл медпункт.

— Кто старший?

— Я, — ответил мужичок в белом халате.

— Дед Серёжа плох. Надо помочь.

— А чего помогать?

— Да посмотрите хоть, что с ним!

— А с ним ничего, — удивился фельдшер, — я вчера заезжал к нему. Посмотрел, послушал — всё нормально.

— Как «нормально», когда он помирает.

— Жизнь кончается, — тихо объяснил фельдшер.

— Тьфу ты! Ведь помрёт человек!

— Да не ори. Сегодня не помрёт... — И грустно посмотрел на разъярившегося геолога. Тот безнадёжно махнул рукой, повернулся и вышел.

Подъезжая к просёлку, что вёл на кладбище, остановился... Вдруг осенило! Взвивая пыль, машина понеслась к погосту. Затормозив около свежей ямы, Исаев достал из-под сиденья геологический молоток, подошёл к дереву, примерился и нанёс легкий удар по краю сучка. Небольшой, со спичечный коробок, кусок гранита отлетел наземь.

Вернулся Исаев к вечеру, зажёг свет, дед подозвал его, хотел что-то сказать, однако постоялец опередил его:

— Я тут проезжал мимо кладбища, зашёл ещё разок посмотреть — нигде ничего подобного не встречал!.. Между прочим, на твоём памятнике один сучок повреждён — щербинка. Небольшая, правда... Наверное, пока везли, кусочек и откололся, а мы сразу и не заметили. Такие дела. — И прошёл к столу рассматривать образцы.

— Волк, — сказал старик и беззвучно заплакал.

АМЕТИСТ

Шел дождь, и автобуса не было. На станции собралось много народу, поговаривали, что автобуса не будет вообще, так как Белавинское озеро разлилось и перехлестнуло дорогу. Высказывались надежды: «Хотя б до Белавина, там, может, кто на лодке перевезет», — но неизвестным оставалось, где автобус: то ли свернул назад и, стало быть, возвратится, то ли проскочил за озеро и застрял уже на обратном пути, и тогда «хотя б до Белавина» будут посылать какой-то другой автобус, с другой линии, а когда это произойдет — неведомо, потому что всюду дожди — такая весна, и всюду автобусы застревают.

Однако явился. Шофер, спрыгнув под дождь, поднял воротник телогрейки, ссутулился и заспешил к домику автостанции, на ходу то и дело оборачиваясь посмотреть машину, которая выглядела, как и должно после долгой грязной дороги — удручающе то есть.

Войдя в помещение, бросил собравшимся: «До конца» — и скрылся в диспетчерской. Пассажиры засуетились, принялись восстанавливать очередь, живо и подробно вспоминая, кто за кем приходил, кто что в это время делал, и хотя все в минуту образовалось, гомон не утихал, и люди с яростью спорщиков сообщали друг дружке очевидное и получали в ответ не менее яростное согласие, дополненное новыми деталями вроде: «Я как раз в это время сумку с подоконника переставляла. Тама, гляди, стекло-то растреснуто, вода-то на подоконник и полилась. А у меня в сумке-то кофта. Кабы, думаю, не намокла, дай, думаю, переложу на сухое место. Тут как раз Гришуха входит, ну!» — «Дак я и говорю, что Гришуха за тобой был, ты, значит, за мной, а я — за Клавдей!» Это могло продолжаться до бесконечности, но окошко кассы приотворилось, и в сей же миг голоса смолкли.

Потом, отталкивая друг друга и ругаясь, лезли в автобус. Кричали, что места хватит, но каждый старался пролезть вперед. Один лишь Гришуха Анчуков стоял в стороне. Он, как, впрочем, и остальные, знал, что мест в автобусе двадцать четыре, а билетов продано восемнадцать. Но еще он знал, что, будь не восемнадцать, а десять или пять человек, без ругани и давки не обойтись, и какая-то в этом нелепость, и тут уж ничего нс поделаешь.

У деревень автобус останавливался, люди входили и выходили, прощались и здравствовались, вели громкие разговоры.

Наконец добрались.

Отмыв сапоги в луже у автовокзала, Гришуха направился в центр города, где был ювелирный магазин.

Он всегда с некоторой робостью входил в ювелирные магазины. Приближаясь к прилавку, боялся увидеть нечто, что могло бы ему понравиться. Так было всегда. Но если в молодости, когда Гришуха приезжал в город с отцом, на прилавках случалось видеть шедевры, угнетающие своей красотой и заставляющие бегом бросаться к станку, чтобы сработать какой-нибудь перстень для самоутверждения,

то в последние годы попадались все настолько грубые и убогие поделки, что Анчуков диву давался, и странные мысли одолевали его. С одной стороны, он чувствовал в себе умение, а с другой — не понимал, зачем он нужен со своим чутьем на камень, со всем изяществом работы, если магазин заполнен такой невзрачностью.

Он долго стоял над прилавком. Настолько долго, что вызвал подозрения продавщицы.

— Гражданин! Вам чего?

Подняв хмурый взгляд, Гришуха спросил перстенек с аметистом.

— Перстней с аметистами у нас нет, есть кулоны из аметистовых «щеток», — ответила продавщица с некоторым волнением, опустив руку под прилавок, где была кнопка звонка.

— Это не «щетка», — вздохнул Анчуков, — а крошка, наклеенная на металл. И вообще, не аметист это.

— Как не аметист? — переспросила продавщица, не понимая, куда клонится разговор.

— А вот так: в мастерской мусор с пола собрали и наклеили. Покажите изумруд, — продолжил Гришуха.

— Изумруда нет, — отвечала продавщица, растерянность которой постепенно сменялась любопытством.

— Хоть какого он цвета?

— Не важно.

— Небось и не видала никогда?

— Не ваше дело! — вспыхнула продавщица.

— Ладно, ладно, — успокаивал Анчуков, — извини. А где, к примеру, сапфир? — И развел над прилавком руками. — Где опалы, агаты, александрит, яшма, аквамарин?

Но в продавщице еще кипела обида.

— А! — махнул рукой Анчуков и, достав из кармана плаща тряпочку, развернул, вынул перстень. — Гляди!

— Ну и что? — скривив губы, она возвратила перстень. — Дешевка.

— Скажешь тоже: «дешевка»! — Он аккуратно завернул перстень в тряпочку.

— А рубины и александриты у нас есть. Вот, пожалуйста.

— Стекло.

— Как стекло? — не поняла продавщица.

— Так. Искусственные, мертвые.

— Ну, не знаю, что вам еще нужно, — брезгливо дернула плечиками. — И яшма у нас есть — вон булавки для галстука.

— Метро «Краснопресненская», — махнул рукой Анчуков.

— Чего?

— В Москве бывала?

— Ну.

— Такой яшмой в метро стены выкладывают. Более она ни на что не годится.

— Много о себе понимаете, — буркнула продавщица, — а у самого, поди, и денег-то нет колечко купить.

— Куда мне! Тут к каждому камешку — кило золота.

— Не чета вашему.

— Это уж само собой, — усмехнулся Гришуха. — Ну ладно, пойду попытаю счастья. — И, подмигнув продавщице, прошел в комнатенку с надписью: «Скупка ювелирных изделий у населения».

За столом, склонившись над бумагами, сидел старик.

— Здрасьте, Борис Михалыч!

Старик, не поднимая головы, посмотрел над очками:

— Анчуков? Давно тебя не было. Проходи, садись. Что пожаловал?

Присев к столу, Гришуха вновь развернул свою тряпочку и положил на бумаги перстень.

Это был серебряный перстень тонкой и красивой работы с большим аметистом, темно-фиолетовым, «кровяным», какие некогда добывали на Урале.

— Вещь! — не удержался старик и, взяв перстенек двумя пальцами, принялся поворачивать его так и эдак, собирая в камне свет из окошка.

Свет был сейчас мрачноват и холоден, и камень молчал, затаившись в непроницаемой черноте.

Старик встал, подошел к окну, поднял перстень, и аметист неохотно открыл глубину.

— Эх, солнышка бы! — вздохнул старик.

— Да просто денек посветлее, а если солнышко — то за тучкой, чтоб не прямой свет.

— Ну это конечно, чтоб не прямой, — понимающе согласился старик, — да что тут будешь делать! — прошел к двери, щелкнул выключателем, — лампа вспыхнула, — вернулся к столу и поднял перстень.

Гришуха поморщился, предчувствуя боль, и глянул на камень: попав под прямой свет, аметист полыхнул кровавым сиянием. Гришуха даже глаза закрыл, но и под веками все было кроваво-красным.

Старик, не выдержав зрелища, положил перстень на стол.

— Да, брат, — только и сказал он. А камень, лежавший теперь боком к свету, несколько успокоился, поостыл, сделался темно-фиолетовым, и лишь в глубине его горели кровавые искорки.

— Да-а, — шепотом добавил Борис Михайлович, — сильная вещь.

— Вот, — пробурчал Гришуха, — а продавщица посмеивается.

— Ну, это она по молодости. — И, глядя на перстень и что-то про себя думая, старик вдруг спросил: — А ты как вообще-то живешь?

— Все так же.

— Все этим... сторожем работаешь?

— Да, — усмехнулся Гришуха, — ночным дежурным по маслозаводу.

— Денег, поди, не хватает?

Гришуха пожал плечами.

— Ну и как перебиваешься?

— Так и перебиваюсь.

— Ну, а огород там, сад?

— Некогда. Все время гроблю на это дело, — ткнул пальцем в перстень.

— М-да. А жена не ворчит?

— Ворчит, — Гришуха вздохнул, — еще как ворчит. Все ж ребятишек двое.

— М-да. А чего ж так мало продукции выдаешь? — улыбнулся старик. — Раз в год и приносишь по камешку.

— Дак дело такое! Пока... придумаешь, да пока сработаешь, да с тыщу раз переделаешь, чтобы самое то получилось...

— Это конечно, — согласился старик. — Перстенечек твой — загляденье. Сказочная работа... Хороших денежек стоит. Но хороших — не дам.

— Дайте хоть сколько-нибудь.

— И сколько-нибудь — тоже не дам. Теперь на приличный товар грамотных покупателей нету.

— Ну что вы, Борис Михалыч, вы ж понимаете...

— Я понимаю, но и ты пойми... Есть, правда, один вариант, — старик, прищурившись, посмотрел на Гришуху, — ежели ты свое клеймишко на другое заменишь...

— На какое — другое?

— Ну, скажем, на отцовское или какого-нибудь еще старого мастера, — подберем!

— Зачем? — обиделся Гришуха.

— Зачем, зачем... Ты, брат, работаешь так, что вполне можно пустить твои перстенечки с именитыми клеймами, ну, типа антиквариат, а вот это в цене.

— Не пойдет, — отрезал Гришуха, — вы мне и в прошлый раз намекали, я понял...

— Намекал. И надеялся, что поладим. Оттого и заплатил в прошлый раз соответственно.

— Не пойдет.

— Ну и куда понесешь?

— Да хоть в соседнюю область!

— Валяй! К моим приятелям! Как явишься, они сразу мне позвонят, мол, твой клиент заявился — сколько платить?

— А ну вас всех!

— Как знаешь...

«Эх, беда, беда, беда, — думал Гришуха, стоя на крыльце магазина. — Денег — ни копейки, а долгов — полно. Или впрямь дело мое никому не нужно? И отчего так? Дед работал — годилось, камешки теперь по музеям лежат. Отец работал — годилось, цельной артелью командовал. Артели уж давно нет, один я остался — и никому не надо. Беда! Как же я теперь домой возвернусь? Без денег, без подарков?..»

Он не видел, что из-за витрины наблюдали за ним.

— Я ж сказала — дешевка!

— Бестолочь! — оборвал старик.

«Делать нечего», — завершил свою мысль Гришуха и пошел на автостанцию. Но автобуса сегодня не предполагалось, предполагалось, что сегодня уже ни один хозяин ни единой машины на дорогу не выгонит.

Домой попал Анчуков лишь на следующий день. Жены в это время не было. Она пришла с фермы вечером.

Старший сын не спал:

— Мам! Перстень у папки не купили, но ты не ругайся, мам! Он сказал, что больше не будет камни точить и на хорошую работу пойдет. Огородом займется, а, мам? Не ругайся!

— Где он есть-то?

— На чердаке, спит.

— Чего не в горнице?

— Боялся, видать, что ты заругаешься, разбудишь его, а он сильно устал — пешком шел.

— От самого города?!

— Ну.

— Да что он — рехнулся, что ли? Будь они неладны, камни эти!

— Не ругайся, мам, он уже и станок разломал да в чулан снес.

— Чего?.. А ты иди спать, иди, — и взялась разбирать беспорядочно сваленное на печь шмотье. Вытащила из карманов мужниного плаща тряпочку, развернула, осторожно взяла перстень и нацепила на безымянный палец левой руки: «Ишь, засверкал!»

Потом, сбросив телогрейку, прошла в комнату, включила ночник и достала из шкафа новую сиреневую кофточку.

Глядя в зеркало, она то прикладывала левую руку к груди, то этой же рукой поправляла волосы. Тихая, тайная улыбка озаряла ее лицо. И камень отвечал этой улыбке теплым мерцающим светом.

Неохотно оторвавшись от зеркала, вздохнула, покачала головой и пошла в сени. Выволокла из чулана похожий на сковородку шлифовальный диск, бочонок электромотора, какие-то ремни, железки, которые были, неизвестно, от станка или сами по себе, перенесла все это в Гришухину комнату-мастерскую, сложила в угол.

Потом слазила на чердак. Гришуха, завернувшись в тулуп, спал у печной трубы. Удостоверившись, что он ни жаром не пышет, ни от холода не околел, она и сама спать отправилась — рано утром снова надо было идти на ферму.

Попыталась снять перстень — не получилось. «Ну и сиди, коли такой упрямый». И погасила ночник.

Не было за окном ни звезд, ни луны, ни огонечка какого — одна беспросветная ночь. Лишь в глубине камешка мерцала малая искра.

РЫБАК

Ночь. Тускло горит в коридоре пятнадцатисвечовая лампочка, пиликает одинокий сверчок.

Шухов — медбрат, дежурящий по отделению, — сидит в конце коридора на вытертой деревянной кушетке и борется с дремотой — сил нет, как спать хочется, а уснуть нельзя.

В дверях одной из палат показывается Лепёхин — тщедушный мужичонка лет сорока пяти. На нем — ни пижамы, ни майки, только трусы и тапочки. Под мышкой — узел.

— Ты куда? — тихо, чтобы не помешать спящим, спрашивает медбрат.

— В баню! — радостно заявляет Лепёхин. — Веничек вот приготовил, белье, — и направляется к закрытому выходу, но Шухов останавливает его:

— Погоди... Сегодня понедельник.

— Ну, — подтверждает Лепёхин, недоумевая, что же должно из этого следовать.

— В бане выходной, — поясняет Шухов. — Завтра сходишь.

— Точно! — соглашается Лепехин. — Как это я забыл? — и поеживаясь, — все-таки холодновато на линолеумном полу — уходит в палату.

А Шухов встает: побродить по коридору, прогнать дремоту. О Лепёхине он уже не думает, за Лепёхина он спокоен: тот будет крепко спать — и к завтраку не разбудишь.

Это раньше, в первые месяцы службы, Шухов пускался опровергать больных, доказывая их неправоту, а теперь он медбрат опытный, теперь не спорит: собрался человек среди ночи в баню, стало быть, ни ночь ему не помеха, ни наглухо запертые больничные двери, ни морозец на улице... Надо найти возражение неожиданное, со стороны. Научился Шухов, делает это теперь почти машинально.

«Старик, из тебя классный доктор получится, — говорит ему заведующий отделением. — У тебя хорошая психика, хороший мозг. После института — чтоб только к нам, лады? Мы на тебя запрос пришлем». «Надо еще институт закончить», — уклоняется от обещаний Шухов.

Сверчок сидит в щелке за плинтусом. Приближение человека настораживает его, и он умолкает, но, стоит Шухову чуть приотойти, начинает пиликать снова.

Тут в первой палате возникает какое-то шевеление, и медбрат сразу же направляется туда: склонившись над кроватью, Мазаев комкает простыню.

— Ты чего? — с нарочитым равнодушием спрашивает медбрат.

— Голубцов захотелось, — виновато отвечает Мазаев. Он еще очень молод, почти мальчишка.

— А-а, — успокаивается Шухов и судорожно зевает — это нервное: у Мазаева суицидальные мысли, и он вполне может распустить простыню на ленты, чтобы затем попытаться перекрыть себе кислород.

— Фарш у тебя готов?

— Да, вот он. — Мазаев указывает перед собою.

— А в чем будешь тушить?

— В гусятнице.

— Так. Давай я плиту зажгу.

— Спасибо, — кивает больной и, словно в пантомиме, открывает дверцу не видимой никому духовки, Шухов, тоже в пантомиме, «чиркает спичкой» и «зажигает газ».

— Ну, ты ложись, — говорит он по-свойски, — а я присмотрю уж — все равно до утра не спать. Только чур — первый голубец мой.

— Ладно, — соглашается Мазаев, укладываясь на голый матрац.

Шухов недолго стоит над «плитой» — больной, сладко приоткрыв рот, засыпает.

И снова — коридор, вытертая кушетка, тоскливый сверчок. Шухов задремывает, потом, чтобы сбить сон, делает зарядку... Начинается хождение по нужде. Достаточно одному спутешествовать, — замечал медбрат, — как сразу же поднимаются еще десятеро: оказывается — всем приспичило.

Вообще-то за уборной — глаз да глаз: там и труб полно, и кронштейнов — есть к чему привязать веревочку. Кроме того, вчера через нужник удрал футболист Сидоров: открыл фрамугу, подтянулся и пролез в узкую щель. Сидоров, понятное дело, человек тренированный, к тому же невероятно тощий — если нога пролезет, то и все остальное пройдет, и едва ли кто ещё из больных сумел бы исполнить его трюк, но это — если по здравому разумению, а если... «Действия наших пациентов непредсказуемы», — любит повторять завотделением.

Сидоров же, кстати, спустя полчаса после побега вернулся. Не через окно, разумеется, — постучал в дверь.

— Должен я о своей спортивной форме заботиться или не должен? — изумленно вопрошал он.

— Должен, — согласился лечащий врач и велел снять с пациента спортивный костюм, дозволявшийся ему в виде исключения, и выдать рыжую, как у всех, пижаму: — Теперь заботься...

Такое случилось происшествие, и потому Шухов настороже. Однако ходоки сегодня подобрались, как один, грамотные: стараясь понапрасну не беспокоить медбрата, они не задерживаются — отжурчав, сразу же вылетают обратно.

И вновь наваливается сон... Надо подняться и обойти все палаты — раз, другой, третий...

Митрофанов стоит у окна.

— Что не спите?

— Вот он! — шепчет, не оборачиваясь, Митрофанов. — Вот!

Холодный свет уличного фонаря освещает заснеженную крону старого тополя.

— Смотрите! Это опять он!

Шухов смотрит, но ничего примечательного не видит. Правда, с одной из ветвей тополя вдруг осыпается снег — только с одной и как-то весь разом, словно эту огромную ветвь тряхнули, но мало ли... И Шухову становится грустно: до сего времени он

тайно сомневался в правильности диагноза Митрофанова, проще говоря, подозревал, что Митрофанов здоров — уж слишком ясными и спокойными, чем бы ни лечили его, оставались глаза этого человека, и вдруг — на тебе: галлюцинации. Как ни печально, заведующий, наверное, прав: «Кто здесь не в белом халате, тот — душевнобольной».

— Вот он, — твердит Митрофанов, — вот! — Потом помолчал немного и вздохнул: — Всё.

— Ну и отлично, — соглашается Шухов, — а теперь — спать.

— Да-да, вы, пожалуйста, не волнуйтесь, — говорит Митрофанов, залезая под одеяло. — Не волнуйтесь... Третий раз приходил, представляете?

— Представляю. А он — кто?

— Вы не видели? — Митрофанов даже приподнимается.

— Нет, знаете, прозевал... Да вы лежите, лежите...

— Странно. — Он снова валится на подушку. — Впрочем, какая разница? Главное — он приходил. Приходил, понимаете? Трижды! Это же чудеса!

— Так кто же он? — Шухову надо выяснить, чтобы на утренней летучке сообщить врачам о характере галлюцинаций.

— Ну, скажем, рыбак. — Митрофанов смеется.

— Вы с ним вместе рыбачили?

— Куда мне... Это долгий разговор, брат... Вы, конечно, паренек неплохой: больных не обижаете, передачки из нашего холодильника не подворовываете, но — очень уж долгий разговор.

— Откуда вы знаете про передачки? — теряется Шухов.

— Знаем... Да мы вообще знаем много такого, чего, по вашему мнению, знать не должны или не способны... А теперь — спать. Доброй ночи, — и отворачивается к стене.

Выходя из палаты, Шухов обнаруживает, что и Сидоров не спит — сидит на койке, высунув из-под одеяла кривые, как клешни, ноги.

— А ты чего?

— Гадом буду! — отчаянно мотает головой футболист.

— Что такое?

— Мужик ходил.

— Где? Какой?

— Белый, вон там: сначала на дереве, потом к окну подошел...

— Ты мне лучше скажи, куда вчера бегал?

— Вчера? А никуда, по территории, для разминки.

— И что же, ни один врач тебе так и не встретился?

— Почему? Сколько угодно, даже заведующий наш. Но я ж ничего такого, я же культурно: «Здрасьте», — говорю, он мне тоже: «Здравствуйте»... Я — мимо, и он — мимо. Они ж, эти врачи твои, зачуханные все: ничего не видят, ничего не слышат — сам знаешь, работа тяжёлая, умопомрачительная! С такими вот, — обвел он рукою палату, — это тебе не хухры-мухры, правильно?.. Если бы все были как я, — а у меня повышенная весёлость, — совсем другое дело было бы, правильно?

— Правильно, правильно, ложись спать.

— Лягу. Но — гадом быть — мужик ходил...

Утром Шухов докладывает врачам, что Митрофанов и Сидоров говорили о мужике, который лазал на дерево. Поскольку больных двое, а диагнозы у них не родственны, врачи склоняются к мысли, что это не галлюцинация, а действительный эпизод.

— Мало ли тут народа трусцой от инфаркта бегает? — замечает лечащий врач.

— Да и «моржи», — подхватывает заведующий. — Они вон в пруду полынью продолбили и ни свет ни заря — купаются.

— Ну а среди этих и подавно — каких только чудиков нет! — вздыхает лечащий врач. — Эти и на дерево заберутся...

Шухов не настаивает. Он может, конечно, сказать, что никакого мужика на самом-то деле не было, но — кто их знает: решат ещё, что он переутомился и...

От коридора с палатами его отделяет лишь одна дверь, а от улицы — целых четыре... Так что пусть уж лучше доктора забудут об этом, а они, если не записать в историю болезни, забудут: работы много, работа тяжелая, умопомрачительная — прав Сидоров-футболист.

Проходя мимо корпуса, медбрат сталкивается взглядом с Митрофановым. Тот из-за окна жестом подзывает к себе. Приблизившись, Шухов замечает на снегу следы босых человеческих ног. Он оборачивается, чтобы определить, откуда явился пришелец, однако нигде более следов не видно — только здесь, под окном.

«Бред какой-то, — потрясенно думает Шухов. — Не иначе я и впрямь переутомился».

Кивнув на прощание Митрофанову, который смотрит через окно добрыми и очень спокойными глазами, он решительно бросается прочь: «Домой, скорее, домой! Спать! Спать! Спать!..»

ЛАВРЮХА ОБЫКНОВЕННЫЙ

Поздней осенью, когда выпал снег, а вода в реке сделалась непроглядно-черной, Лаврюха погнал леспромхозовский катер на ремонтный завод для замены двигателя — старый едва тарахтел. Кое-как сплавившись по течению до устья, прибился к пристани — подождать рейсового теплохода и, пришвартовавшись к нему, перейти озеро. Но выяснилось, что рейсовый теплоход тоже сломался и будет только через неделю. Если, конечно, к той поре не ударит мороз и не закроется навигация.

Назад Лаврюхе на таком движке не вскарабкаться было, неделю без харчей не прожить, и пришлось от-

правляться в поселок самостоятельно. «Тьфу, незадача», — раздосадовался Лаврюха, а тут еще начальник пристани пассажиров «навялил»: двух городских теток, возвращавшихся не иначе как от деревенской родни, и мальчишку-дошкольника — своего сына, который, как понял Лаврюха, приезжал к отцу на побывку, да из-за того же рейсового и застрял.

Пошли. Не плаванье было — маета: моторишко тянул еле-еле, боковой ветер сносил в сторону от поселка, а когда уж почти перебрались, у самого берега мотор вовсе заглох.

Лаврюха полез копаться, тетки, обрадовавшись тишине, взялись балаболить, продолжая разговор, прерванный, похоже, отплытием.

— Ой, Валь! Палас — три на два с половиной, голубой... Эспадобна, Валь! Как у тебя... Обои — тоже голубенькие, под цвет... Ну все, Валь, прям как у тебя! Стенка, люстра хрустальненькая, Валь: диньдинь — эспадобна! Парке-эт!.. Я, грю, не разрешу в этой комнате танцевать! Как заржали все, Валь!..

Тут Лаврюха обнаружил, что аккумулятор чужой.

— Ну, беда! Говорил же я твоему отцу: не могу оставить аккумулятор — движок дохлый, так хоть зажигание путное... Спер-таки, не удержался...

— Он сказал: все равно ремонт, — растерянно объяснил мальчишка, — там, сказал, поменяют.

— Ремонт-то ремонт, но до него еще добраться надо, а теперь...

— А что теперь? — подхватились тетки.

— Встретим кого — отбуксируют. А не встретим — к тому мысу прибьемся, — указал он, — маячник свезет, поможет.

— Он в поселок переехал, — робко сказал мальчишка, — мотоцикл перевез, дом, моторку...

Лаврюха пристально посмотрел сначала на него, потом за иллюминатор: темнело, над черным лесом вспыхивал огонь маяка. «На автоматику переведен», — понял Лаврюха и спокойно, с некоторой даже ленцой, словно речь шла о чем-то не заслуживающем внимания, заключил:

— Ну и пущай. До шоссейки и пешком доберемся, а там кто-нибудь подбросит, отдыхайте пока.

— Отдохнешь тут: болтает до невозможности, — раздраженно бросила Валя.

Волна была небольшая, но, как только суденышко потеряло ход, ветер развернул его и стал раскачивать с борта на борт.

Ни одна моторка не прошла в тот час мимо катера, дрейфовавшего вдоль берега к маяку. И оставалось уж немного совсем, когда Лаврюха понял, что ветер гонит их не на мыс, а левее — на каменистую подводную гряду, уходившую от мыса далеко в озеро.

«И волнишка-то плевая, а вполне можно ни за понюх табаку...» Подумав, он достал из сумки, в которой умещалось все его личное хозяйство, коробок спичек, тщательно завернул их в полиэтиленовый пакет, затем — в другой и спрятал на груди под тельняшкой. Тетки, начинавшие заболевать по-морскому, не обратили внимания.

Когда до камней осталось несколько метров, Лаврюха разобъяснил теткам ситуацию, — те стали орать: «За все ответишь!» — оделил их спасательными поясами, сохранившимися, вероятно, лишь потому, что на них сроду никто не обращал внимания, надел пояс на мальчонку. Потом, оборвав идущий к мачте электропровод, одним концом обвязал себя, другим — парня:

— Мы теперь, друг, как альпинисты: связались веревочкой — и по камням! Ты, главное, не давай волне шибко забижать себя, черепок береги, понял?

Тот молча кивнул.

— Не задерживайтесь, бабоньки, сигайте следом, — сказал Лаврюха, — иначе угробит на валунах! — Подхватил мальчишку, шагнул из рубки и прыгнул.

Тотчас раздался за спиной скрежет днища о камни...

В озере и летом не купались, а сейчас вода была настолько холодной, что ноги у Лаврюхи отнялись сразу. «Минут пять продержусь — и кранты». Он пошуровал руками, проплыл до камней, потом, обнимая валуны, пополз к берегу. Волны заливали его с головой, парнишка мотался на привязи где-то сзади. «Только бы не захлебнулся!»

Наконец выбрались. И здесь, уже на снегу, мальчишечка потерял сознание. Лаврюха взял его на руки и побрел к постройкам, стоявшим у маяка: от подворья смотрителя остались дощатый сарай да маленькая, недавно срубленная из сосны банька — видать, не верил старик, что маяк сможет без него обойтись, новую баньку сгоношил, расстарался.

Лаврюха пристроил мальца на полок, отвязался, снял с него начавшую подмерзать одежонку, попытался растереть, но пальцы скрючило, руки сводило... «Огонь. Или пропадем, — понял Лаврюха. — Скорее!» В сарае нашел гниловатую, но сухую сеть, весло. «Выживем». Потащил к баньке, споткнулся, упал, ноги не слушались. «Только бы сетку не выронить — намокнет». К баньке приполз на коленях.

Ткнул в печь сетенку, потом, вытащив из-за пазухи сверточек, добрался до спичек. Кое-как высек огонь, запалил сетку, подал в печь конец весла — размочаленную лопасть, дерево занялось. «Выживем».

Отогрев руки над пламенем, взял окоченевшего мальчишку, подержал его, сколько хватило сил, у открытой дверцы, вновь положил на полок и принялся растирать... Так повторял он и повторял, не забывая подталкивать в печку прогорающее весло. Вслед за веслом пошла вывороченная в предбаннике половая доска.

Парнишка очухался, трясся в ознобе. Лаврюха, не переставая, грел его, растирал, мял. «Выживем.

Теперь выживем...» Но огня было мало, и воздух в баньке теплее не становился. Лаврюха снова сходил в сарай: подобрал несколько щепок. Потом в куче мусора на том месте, где прежде стояла изба, попытался отыскать какую-нибудь железку, годную для расщепления досок. Ничего не нашел. «Пропадем», — прикинул Лаврюха. Постоял, постоял на снегу посреди двора, подумал... Складывалось так, что лишь один выход оставался: подошел Лаврюха к сараю, двумя руками поднял с земли здоровенный камень и бросил в сколоченную из горбыля стену. Снова поднял и снова бросил, еще раз, еще и еще. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Он сел на снег, привалился к стене, отдохнул — и снова...

Одна из досок треснула. Лаврюха принялся за вторую, потом за третью. «Теперь выживем». Вскоре огонь в печи полыхал, сделалось заметно теплее, мальчонка перестал дрожать, но зябнул еще, поеживался. «Тогда так», — решил Лаврюха и понатаскал в котел воды: ведерко, к счастью, в баньке имелось.

Потом опять ломал, крошил стену сарая, подбрасывая обломки в печь; плескал воду на каменку и добился: ежиться парнишечка перестал, распарился, ожил. И — уснул. «Выживем», — заключил Лаврюха и только теперь вспомнил: «Бабы!» То есть мысль о тетках, оставленных на катере, не покидала его, но спасать и мальчишку, и теток одновременно никакой возможности не было, и Лаврюха занимался мальчишкой. Тетки же, по его разумению, могли и должны были выбраться на берег. Лаврюха ждал их, надеялся на их помощь, но они не появились, и теперь он забоялся: волны могли перевернуть катер, свалить его с гряды на глубину...

По своим следам Лаврюха добежал до того места, где выполз на берег: катер торчал в камнях. Волны поднимали его, опускали, скрежетало мятое днище, но сидел катер крепко.

— Бабы! — заорал Лаврюха. — Ба-а-бы-ы!

Из-за дверцы высунулась голова.

— Давайте сюда-а!

Тут судно снова бросило вниз, и голова исчезла. Лаврюха подождал-подождал: «Убились они там, что ли?» — и шагнул в воду. «Не сдюжить. Околею от холода».

— Ба-бы-ы! — Бабы не отзывались. — А! Была не была! — И прыжками побежал к катеру. Но тут же подвернул на камнях ногу, упал и далее добирался прежним способом — не то ползком, не то вплавь.

И, уже ухватившись за борт суденышка, подумал с досадой: «Зря поперся. Случись что — парнишка один останется, застынет совсем». А случиться что-нибудь вполне могло: ни рук, ни ног Лаврюха уже не чуял.

Бабы были в кровище — сильно побились. На сей раз они попрыгали за Лаврюхой, но у каждой оказалось по два чемодана.

— С ума сошли? — заорал Лаврюха. — Бросайте, бросайте все!

Они упорно тащили за собой поклажу до тех пор, пока чемоданы не наполнились водой и не утонули.

Тетки ругались, а Лаврюха прикидывал: «Эти — толстые, не должны простудиться. Эти отогреются быстро, мальчонка вот...»

На берегу тетки, обогнав его, бегом бросились к баньке. У Лаврюхи же, пока он дошел, одежка заледенела. «Холодает, — машинально отметил он. — Ночью мороз будет».

Бабы стояли возле печи, клубились паром.

— Сымай с себя все, не то подохнете, — сказал Лаврюха.

Но они, кажется, и сами поняли, что в мокрых платьях, рейтузах и свитерах им не отогреться.

— Отвернись, бесстыжая морда!

— Шли бы вы... — Склонившись к огню, он ждал, когда его одежда оттает.

Потом все трое сидели нагишом на полке, дрожали. Мальчонка спал.

Отогрелись. И тут с бабами случилась истерика; они столкнули обессилевшего Лаврюху на пол, стали бить кулаками, ногами. Сверкая золотыми зубами, они орали про тыщи долларов: «Норка! Выдра! Бобер!» И Лаврюха сообразил, что в чемоданах были меха, скупленные у браконьеров. Устав молотить, бабы навалились, смяли, придавили Лаврюху. «Всё, — подумал он. — Убит титькой».

Огонь вдруг погас, вспыхнул, перекошенный рот блеснул на миг металлическими зубами, огонь снова погас, сделалось темно. Бабы отпрянули и затихли. На полке испуганно всхлипывал проснувшийся мальчуган... Лаврюха, расправляя ребра, вздохнул, поднялся и, пошатываясь, побрел к сараю.

Взошла луна, подмораживало.

Скрипнул за спиной снег. Лаврюха обернулся: озаренные лунным светом, стояли на снегу голые бабы.

— Ну, чего вам? — испуганно прошептал Лаврюха. Бабы молчали. Подождав несколько, он, словно опомнившись, судорожно прикрыл руками низ живота. Бабы тоже прикрылись.

— Ты уж не бросай нас, дядечка! — попросила Валя и, должно быть, улыбнулась — в отсвете маяка блеснули ряды зубов.

— Извиняемся! — сказала другая.

— Ладно, — не удержавшись, махнул он рукой. — Шут с вами. — И пошел себе.

Но тетки догнали.

— Да за дровами я, — объяснил Лаврюха. — Куда ж я среди ночи уйду? Да еще голый... Во дают!..

— Ну, мы поможем хоть что.

— Валяйте, — согласился. — Вот камень, вот сарай — валяйте.

Но бабы не смогли поднять камень.

— Небось на пакость какую-нибудь сил хватило бы. Дуйте-ка лучше назад, — предложил он, услыхав металлический перестук челюстей.

Когда Лаврюха, прижимая к груди обломки досок, ввалился в жаркую темень, с полка донеслось:

— И занавесочки, Валь, достала — ну как у тебя, эспадобна, Валь!..

«Порядок, — оценил обстановку Лаврюха. — Стало быть, оклемались». Он снова развел огонь, забрался на полок. Мальчишка не спал, но дышал ровно, спокойно. Бабы пристали к Лаврюхе с расспросами о семье, он отвечал, что женат, что двое детей-школьников. «Все, бабы, извините, я спекся», — просунулся к стенке, отодвинул от бревен мальчонку, услыхал: «Я овощным заведую, а Валя — универсальным», — и далее ничего не слышал, потому что мертвецки спал.

Ночью мальчишка захотел пить и разбудил Лаврюху. Тот сходил за водой — в котле была ржавая, — поставил ведерко греться, запасся дровишками, напоил мальца, уступил бабам свое место, а то они так сидя и дремали, сам лег на нижнюю — шириной в одну доску — ступеньку полка. Переночевали.

Утром оделись, вышли к шоссе и на автобусе добрались до поселка: объяснили водителю ситуацию, и он подбросил бесплатно — денег ведь ни у кого не было. Лаврюха отвел мальчонку домой — тот не чихал, не кашлял, — сдал матери. Потом на почте разрешили — опять же бесплатно — позвонить в леспромхоз. Лаврюха сообщил об аварии.

— Напился! — определил директор причину аварии.

— Нет, — оправдывался Лаврюха, — не пил я, нисколько не пил.

— Справку из милиции, иначе — не рассчитаешься.

В милиции Лаврюхе поверили:

— Пожалуйста, дадим справку, зови свидетельниц.

Он выскочил на крыльцо, где оставил свидетельниц, но их не было. Вернулся на почту, забежал в магазин, в сельсовет — теток и след простыл. Наконец на автобусной остановке ему сказали, что тетки тормознули шедшие из города «Жигули», коротко переговорили с водителем, сели, и машина повернула обратно в город.

Лаврюха повинился перед милиционерами и отправился на ремонтный завод просить буксиришко: «Рассчитаюсь там или не рассчитаюсь, а катерок вызволять надобно».

ШЕЛ ТРЕТИЙ ДЕНЬ...

Маленький этот институт занимал первый этаж старого арбатского дома. Собственно, институт давно уже был присоединен на правах филиала к другому, значительно более солидному, но благодаря, вероятно, территориальной автономии сохранил свой уклад и свою вывеску с длинным названием.

Человек, впервые попавший сюда, — скажем, новый курьер из министерства или провинциальный командированный, — распахнув двери, застывал обыкновенно на месте, пораженный богатством и разнообразием флоры: цветы пышно вздымались на подоконниках, гирляндами ползли по стенам и потолку, свисали со стеллажей и шкафов.

Спросив прощения, новичок выходил на улицу, вновь вчитывался в облезлую вывеску и, пожав плечами, решался на вторую попытку. Когда, еще раз поздоровавшись, он робко интересовался, не здесь ли находится институт с тем самым названием, шесть женщин, которых он поперва в этих джунглях и не углядел, наперебой начинали заверять его в том, что он действительно не ошибся.

Гостя усаживали в продавленное кресло, тотчас же включался электрический самовар, извлекались из сумок конфеты, сухарики и печенье. Гость порывался было объяснять, зачем он здесь, но на него махали руками: потом, потом!

Тут появлялись еще какие-то женщины, начинали рассказывать про дела магазинные, кто-то исчезал, потом возникал вновь... И скоро уже гость совершенно путал сотрудников института с жильцами дома, его уже кормили домашними пирожками, сырниками, винегретом, в который раз поили свежезаваренным чаем, приглашали в двенадцатую квартиру «на собственную наливочку», в двадцать восьмую — «принять под грибки», а пудель с четвертого этажа уже плясал на задних лапах лезгинку... Тут вдруг призрачным видением из-за лиановых зарослей являлся мужчина, передавал пакет секретарше и вновь исчезал. «А кто это?» — изумлялся освоившийся гость. «Это же Карцев!» — с не меньшим изумлением объясняли ему.

Посетитель, подумав несколько, вспоминал, что именно к этому Карцеву он и приехал, что именно этот Карцев и должен завизировать какую-то важную бумагу: сводку, справку или отчет. Продравшись к месту, где только что промелькнуло видение, гость обнаруживал традиционнейший коридор: прокуренный и неимоверно голый.

Найдя дверь с нужной табличкой, он виновато стучался, входил, и взору его представал усталого вида мужчина лет сорока пяти — Владимир Иванович Карцев, директор филиала. Оторвавшись от бумаг, Владимир Иванович здоровался, снимал очки, мял отекшие веки, выслушивал посетителя, вновь надевал очки и, просмотрев поданные документы, расписывался.

Карцев служил в этом учреждении с тех пор, как оно стало филиалом: начальник главка уговорил отложить докторскую и года два, пока будет проходить реорганизация, «посидеть в кресле». Карцев проработал два года, проработал третий — замены не находилось. Он жаловался, ругался — его просили, умоляли «ну хоть чуточку, хоть немного совсем», устанавливали «крайний» срок, потом «последний», по-

том «окончательный». Так время и шло. И все дальше за спиной оставалась не доведенная «до ума» докторская, все труднее становилось Карцеву устоять на ногах в бумажном ворохе отчетов, сводок, справок и отчетов об отчетах.

Нельзя сказать, что руководимый Карцевым филиал не делал совсем ничего. Делал. Приносил какую-то пользу. Так, по крайней мере, полагали вышестоящие инстанции. Они же, надеясь, что польза полагаемая может превратиться в ощутимую, и проводили перманентные реорганизации: то, скажем, отнимут у филиала собственную бухгалтерию, то, наоборот, возвратят, то упразднят должность инспектора по кадрам, то восстановят. Однако сколь-нибудь заметного роста полезности добиться не удавалось.

Карцев же, воспаряясь иногда мыслью к интересам общегосударственным, всякий раз обнаруживал, что контора его более всего принесла пользы, когда б закрылась. Но, понимал он, рассуждения эти из области утопических: за три года он, как ни бился, не смог уволить и одного бездельника, что уж тут говорить о закрытии целой конторы — так, грезы... Словом, служилось ему безрадостно.

Семейные обстоятельства Карцева были такими, какими они, к сожалению, куда как часто бывают: дети становились все более любимыми, жена — все более раздражающей.

И нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что подчас жизнь делалась для него попросту невыносимой.

Случалось, в тяжкие минуты прихватывало сердце, и Карцев подумывал о скором инфаркте; случалось, сильно болела голова, лопались в глазах сосуды — Карцев начинал подумывать об инсульте; бывало, что и голова и сердце болели сразу. «Интересно, — гадал он, — от чего же все-таки помру — от инфаркта или от инсульта?»

Отдыхалось Карцеву лишь на рыбалке. Причем уставал он сильнее всего зимой, и оттого, по-видимому, рыбалку предпочитал зимнюю.

Заранее наметив день, Карцев тщательно готовил удочки, укладывал их в ящик, собирал продукты, правил лезвие коловорота, запасался на «Птичке» мотылем — и в яростной, угрюмой сосредоточенности устремлялся к какому-то безымянному водоему, на льду которого по выходным дням собиралось меж тем такое значительное множество подобных Карцеву беглецов, что лед, случалось, и не выдерживал.

Как-то среди зимы, в глухую, по рыбацким понятиям, пору, когда рыба ловится совсем плохо, Карцев оказался километров за триста от Москвы на маленьком полустанке, какие теперь редко где встретишь: с одиноким домиком смотрителя, с полуразрушенной — вероятно, еще в годы войны — водокачкой, с железным, вручную переключаемым семафором, с занесенным снегом полотном тупика, с нынешним фонарем стрелки, за стеклом которого неровно и тускло мерцал керосиновый фитилек.

Железная дорога пересекала здесь незначительную речушку, на которой Карцев и предполагал порыбачить. Приехал он ночью. Спрыгнул в снег — поезд сразу же тронулся. Дождался, когда скрылись вдали красные огоньки хвостового вагона и стихла поднятая составом метель, прошел на лед и еще затемно насверлил лунок, установил брезентовый тент-шалашик, словом, вполне угнездился.

Время от времени проползали вверх по реке грузовики-лесовозы. Метровый лед сухо и неопасно потрескивал, свет фар выхватывал из темноты берега, где — пологие, заснеженные, где — обрывистые, с частоколом сосен.

Рассвело. Поклевок не было. Карцев взялся сверлить новые лунки, пробовал на блесну, на поплавочную удочку, на мормышки: светлые, темные, тяжелые, легкие, «капелькой», «дробинкой» — весь арсенал перебрал. Менял насадку, прикармливал мелким мотылем, панировочными сухарями — безрезультатно. Он, однако, был рыболовом со стажем — знал, что не ловится рыба куда чаще, чем ловится. Унынию не поддался — свернул брезент, спрятал его в рюкзачок и отправился искать рыбу. Шутки ради просверлил лед под мостом — а у быков давление обычно повыше, — из лунки ударил фонтан, вода разлилась широким озером, а Карцев пошел себе дальше, насвистывая какую-то песенку, благо не было рядом жены, которая враз бы: «Не свисти! Денег не будет!»

«Ну и шут с ней, с рыбой, — думал Карцев, — пусть не клюет. Все равно домой только в воскресенье поеду». А пока была лишь только пятница.

Сорок девять дыр насверлил Карцев: на глубине, на отмелях, на фарватере и в заливах. Из пятидесятой — «юбилейной» — извлек меленького прозрачного ерша. Подержал на ладони: «Ежели с полусотни лунок будет ловиться по одной штуке, то, чтобы на ушицу, — коловорот до рукоятки сточится», — и отпустил рыбешку.

Тут возник на берегу мужичок. Подошел, поздоровался, поинтересовался уловом. Карцев представил исчерпывающие объяснения и узнал, что «рыбы ноне совсем в реке нет, совсем: летось электроудочками повыбили».

— Теперь весны ждать надо! — заключил мужичок. — Как новая вверх пойдет.

— Понятно. — Карцев огорчился всерьез, и вовсе не из-за того, что весны надо было ждать долго, а из-за того, что опять, в который раз за последние годы, попал он на водоем, загубленный браконьерскими электроудочками.

— А ты сходил бы на озеро, — предложил мужик.

— Так это опять возвращаться, поезда ждать...

— Зачем? Поезд крюка дает, на поезде аж сорок километров будет, а прямиком, — махнул он рукой, указывая направление, — километров семь-восемь.

— А там есть где переночевать?

— Поселок там, я и сам там живу. Ты вот что: как дойдешь, попадется тебе завод спервоначалу — забор, проходная, ветка железнодорожная — увидишь. Балки́ там делают, ну... вагончики блескучие для лесорубов. В четыре часа рабочие домой пойдут, ты поспрошай, пустит кто-нибудь — народ у нас добрый, приимчивый. Я бы тебя к себе пригласил, да в деревню иду за лошадью, в деревне, видать, и переночую...

К четырем часам Карцев добрался до поселка, нашел завод. Из проходной вышли несколько женщин. Выбрав посимпатичнее, Карцев с ненатуральной игривостью в голосе попросил:

— Хозяйка, не дай замерзнуть приезжему человеку, возьми переночевать!

Она в ответ лишь усмехнулась и покачала головой. Но приостановилась.

— Да я серьезно, — сказал Карцев, сердясь на самого себя. — Из Москвы на рыбалку приехал, а переночевать негде. Я заплачу.

— Дело не в этом, — снова усмехнулась она, но на сей раз, как показалось Карцеву, уже мягче, добрее. — Семья большая, детей полон дом... Валь! — остановила она проходившую мимо женщину. — Кто у нас рыбаков пускает?

— Максютиха, — ответила Валя, — Татьяна Фролова, кто еще? Зойка Пальникова... Во, Зойк! Поди сюда!

Подошла еще одна женщина.

— Зойк! Возьми рыбака, — попросила ее симпатичная, — а то у меня, сама знаешь, детский сад целый, да у Колюшки еще и ухо болит — настыл где-то...

— Да где ж? — возразила Валя. — Говорю тебе, в хоккей гоняли, он шапку сбросил — запарился, видать, — а на озере ветер... Я уж кричала, кричала ему, а он — ноль внимания.

— Приду сейчас, устрою ему «ноль внимания»!

Карцев, глядя то на разговаривавших, то на Зойку, ждал.

— Идемте, — хрипловатым голосом сказала она.

Сначала шли вчетвером: женщины наперебой рассказывали о своих ребятишках, Карцев молча тащился сзади. Потом оказалось, что им с Зойкой сворачивать. Карцев поблагодарил женщин за заботу. Попрощались.

Зойка жила на втором этаже бревенчатого коммунального дома. Войдя в квартиру, она зажгла свет и, не оборачиваясь, устало проговорила: «Раздевайтесь, разувайтесь, мы с дочерью — в маленькой комнате, вы — в большой: хоть на кровати, хоть на тахте», — повесила пальто и пошла растапливать печь.

Карцев снял тулуп, валенки, заглянул в большую комнату, которая оказалась совсем в общем-то не большой, и обнаружил порядок невероятный: занавесочки, покрывала, салфеточки — все чистенькое, беленькое, отутюженное...

— Мне б лучше всего на пол, — рассудил он, — у меня вот и тулуп есть...

— На пол — это когда много народу, — все тем же усталым голосом сказала хозяйка, — а один — чего же?

— А дочка у вас взрослая? — поинтересовался Карцев лишь для того, чтобы хоть что-нибудь говорить.

— В детском саду. Ужин приготовлю и схожу за ней. Да что вы там стоите? Проходите, садитесь — небось намаялись. Чайку сейчас вскипятим — на газу быстро. Печку — это я для тепла.

Карцев вытащил из рюкзака продукты, прошел на кухню:

— Я вот тут... — он стал вытаскивать из пакетов задубелый хлеб, каменно твердую колбасу, сыр, консервы.

— Да пригодится вам еще, — мельком глянув на стол, сказала хозяйка.

— Тут хватит. К тому же ледяное все.

— Ну, пускай остается, — согласилась она.

Потом Карцев искал место, где можно было бы пристроить до утра мотыля: чтобы и не замерз, и не запарился. Пристроил на лестнице ближе к первому этажу. Хозяйка уверила, что жильцы в доме насчет рыбалки грамотные и мотыля не тронут.

Наконец пили чай. Карцев вспомнил про пакет пастилы и угощал пастилой хозяйку.

— Жена небось положила?

— Нет, — возразил Карцев, — сам. — Понял, что сказал это зря, что теперь могут последовать какие-то новые вопросы, и свел все к шутке: — Она фигуру мою бережет, — неуверенно улыбнулся, — так что это я сам себя побаловал... Да вы ешьте, не стесняйтесь, пожалуйста, — тут он смутился совсем, — я ведь терпеть не могу сладкого, это — так... подвернулось перед отъездом — взял. Девочку угостите, — и отодвинул пакет от себя подальше, к другому краю стола.

Пока хозяйка ходила за девочкой, Карцев изучил последние номера районной газетки, зевнул, осмотрелся и машинально, без всякой цели, определил: «Мужика, пожалуй, и не было — некрасивая. И девочку, наверное, так прижила, без мужа... Девочка в детском саду, хозяйке — за сорок, родила она, значит, лет в тридцать восемь — тридцать девять... Последний, можно сказать, шанс использовала... Какая-то уж совсем неухоженная: волосы патлами, нерасчесанные, двух верхних передних зубов не хватает, да и нижние не все. И уж, похоже, давно так: почти не шепелявит — приноровилась... Какой уж тут муж?.. Живет теперь для дочери — в доме порядок, чистота, и дочка, скорее всего, аккуратненькая, чистенькая девочка. Ну и все правильно, молодец мамаша. Может, она лучшая работница на своем заводе...»

Чай, тепло, телевизор разморили его, он прилег на тахту, уснул и проснулся только тогда, когда все

передачи кончились: хозяйка выключила телевизор и легонько тронула Карцева за плечо. Он смущенно поднялся: «Вы уж извините, пожалуйста». Она попросила говорить тише, Карцев сообразил, что уже поздно, что девочка спит.

— Идите пока на кухню, покушайте, я вам постелю.

Он вспомнил, что до сих пор так и не ужинал, сел к столу. Тут пришла и хозяйка, занялась мытьем посуды.

Завалившись в кровать, Карцев слушал, как хозяйка прибирается на кухне, моет посуду — слушал, задремывал, но не засыпал: «А что, если она, домыв посуду, разденется да и ко мне, а?.. Не красавица, конечно, но вообще-то бабешка спокойная, добродушная... Душевность какая-то в ней конечно же есть, так что... И потом: что я — не живой человек? Сколько можно жить монашеской жизнью?..»

Супруга его принадлежала к числу тех женщин, для которых мужчина — не более чем компаньон в деле продолжения рода. Обрушив когда-то на Карцева поток страсти, она благополучно произвела на свет двоих детей, а затем, отметив, что Карцев накрепко к сыновьям привязался, стала решительно пренебрегать своими обязанностями. Карцев иногда робко интересовался, намекал, но жена отвечала ему так, как, наверное, отвечала бы в людном месте на домогательства чужого мужчины. «Как не стыдно?!» — восклицала она с гневным недоумением и, поостыв, начинала рассказывать об очередном производственном совещании. В конце концов Карцеву действительно стало стыдно, он переселился на раскладушку и полюбил книги об отшельниках и монахах. Время от времени задавался целью найти «бабешку», но для этого необходимо было хоть ненадолго вырваться из круга суетной каждодневности, но где там! На рыбалку бы раз в год попасть! И вот попал: и рыбалка тебе, и женщина...

В этот момент она и явилась. Карцев сжался, отодвинулся к стенке, но хозяйка прошла мимо, в свою комнату, и прикрыла дверь. Карцев подождал, подождал и вдруг, к стыду собственному, обнаружил, что раздосадован...

Среди ночи возник непонятный шум, зажегся свет. Карцев встал: все двери настежь. Оделся, вышел на лестницу. Оказалось, что стало худо старухе соседке. Хозяйка побежала за фельдшерицей. Карцев сел возле старухи — присмотреть. Вид у нее был безжизненный.

Явилась заспанная фельдшерица, сделала старухе укол, та очухалась. Вздохнула и, ни к кому не обращаясь, тихо произнесла: «Всего-то и жизни было — три дня. День — в девчонках побегала, день — в девушках погуляла, день — все остальное: работала, растила детей...» Слова эти произвели на Карцева тягостное впечатление: он давно уже — лет в тридцать — понял, что жизнь коротка необычайно; частенько, словно из-за угла, подсматривал он быстротечность времени. Он засекал его стремительность прежде всего по изменениям в лицах знакомых, родных, в своем лице; по тому, что все чаще и чаще вспоминал в разговорах о событиях, происшедших двадцать пять, тридцать, а теперь уж и сорок лет назад; но более всего изумляли Карцева старые стенные часы: в детстве ему казалось, что бьют они чрезвычайно редко, теперь же они били почти без перерыва. Да, но чтобы всего три дня?..

— Я ведь уже оттуда гляжу, — прошептала старуха, обращаясь, как и прежде, ни к кому. Карцев понял, откуда она глядит.

— Позавчера — девчонка малая, — продолжала старуха, — вчера — с Колюшкой своим миловалась... Колюшка, он уж сколь годов в земле лежит, меня дожидаючись... А потом — сёнешний день — и всё, — закрыла глаза. — И всё...

Между тем приближалось утро, Карцев отправился на озеро.

Он прошел мимо огромной проруби, возле которой лежал черпак с длинной ручкой — здесь, очевидно, местные рыбаки намывали себе мотыля; прошел мимо одинокого рыболова, устроившегося не иначе как возле прикормленных с вечера лунок; прошел далеко и в каком-то непонятно почему приглянувшемся месте остановился: «Нет, я все понимаю, — поставил ящик, снял с коловорота чехол, — но чтоб три дня...» — и начал сверлить.

Вяло поклевывали мелкие окуньки — «матросики», изредка брала небольшая плотва — Карцева это вполне устраивало. Оказалось, однако, что в других местах не клюет, к Карцеву стали сползаться рыбаки, его «обсверлили», засветили воду через множество лунок, и сторожкая рыба ушла. Пришлось перебираться еще дальше. Поначалу его преследовали несколько человек, полагавших, наверное, что он знает удачливые места, но постепенно, разочаровавшись, отстали. К этому времени он оказался уже на противоположной стороне озера.

Погода стояла тихая, пасмурная, клева не было. Карцев от нечего делать решил посмотреть, что творится подо льдом, лег на брюхо, сунулся в лунку и замер, увидев опухшее от недосыпа лицо. «Тьфу, рожа!» — плюнул в лунку, поднялся, побродил вокруг, гася вспыхнувшее раздражение, потом прилег прямо на снег, благо был в тулупе и ватных штанах, и уснул нездоровым, тяжелым сном.

Проснулся от холода. Стало сумеречно, задувал ветер. На озере не было видно ни одного рыболова. Вдалеке неспешно трусили по льду две собаки. Следовало бы возвращаться, но Карцевым овладело гнетущее, мутное безразличие: «А ну их всех...» Никого не было рядом, никого — вокруг: «И хорошо, здесь и останусь. Вот он, мой третий день... Какая разница — длиннее он или короче будет, важно, что старуха права: всего три дня, третий — последний... Никого... А никого мне и не надо...»

Приподнял голову — собаки подошли ближе и теперь стояли, повернувшись к Карцеву. «У меня и угостить-то их нечем. Небось на гулянку... или с гулянки...» И вдруг он, не успев еще осознать происходящее, рывком поднялся, схватил коловорот и замер в животном страхе. Хотел крикнуть и не сумел — горло, челюсти свело, словно параличом. И только теперь Карцев услышал бешеную скороговорку крови в висках: «Вол-ки, вол-ки, вол-ки...» Только теперь смог осмыслить и оценить ситуацию.

Звери стояли неподвижно: спокойно и терпеливо выжидали. Карцев, опустив руки, наклонился — это движение всегда безотказно отпугивало бродячих собак, — но волки не пошевелились. Подняв пустую бутылку, он швырнул ее в сторону животин. Не долетев нескольких шагов, бутылка упала на слежавшийся снег и скользнула вперед. Волки чуть отпрянули и снова остановились. Тогда Карцев, захлебываясь в истошном крике, бросился на волков. Оставалось совсем немного: он уже замахнулся коловоротом, готовясь крушить налево и направо, покуда хватит сил...

Потом он понял, что зверей не напугал — они не вздрагивали, не поджимали хвосты, но, похоже, яростное желание защитить свою шкуру произвело на волков впечатление: отвернувшись, они легкой рысцой — шаг в шаг, след в след — направились к поселку. Карцев вздохнул было с облегчением, но тут же сообразил, что делает это преждевременно, что угроза столкновения вовсе не миновала. Становилось уже совсем темно, надо было двигать в поселок, но именно туда пошли и волки... Взяв ящик, Карцев заспешил вслед за ними. Шел он быстро, почти бежал, сжимая в руках полутораметровую железину коловорота. Опасаясь нападения сзади, оборачивался, озирался по сторонам. Запыхавшись, остановился, сел на ящик отдохнуть, отдышаться и услышал вдруг:

— Тппрру! Здоров, рыбак! Дня не хватило?

Подъехали сани, в санях — вчерашний мужик.

Карцев торопливо и сбивчиво стал рассказывать.

— Да знаю я! — отвечал мужик. — За собаками ходят. У меня и ружье всегда с собой взято, — он откинул рогожу, показывая ружье, — да вот не попадаются, разбойники! Залезай, вместе поедем... Прямо на мешок и садись — в нем рыба мороженая, не раздавишь.

— Откуда столько рыбы?

— Да это мы сетью для магазина ловим. Хочешь — покупай: сдадим сейчас в магазин, там и возьмешь. Сел?

Поехали. Карцев, не переставая, рассказывал и рассказывал, как он принял сначала волков за собак, как бросил бутылку, как бежал. «Ну совсем не испугались: отвалили в сторонку, и хоть бы что...»

— Чего им бояться? Хозяева! На ферме сколь телят порезали, сколь собак — всем кранты вышли! Одна Буська их не боится — кошка, стало быть. На ферме она живет. Сама черная — жуть! А башка белесая, вроде как седая. Ну вот... Волки придут, а она по крыше носится, воет: дразнит, значит, их, бармалеев. Они обсердятся и тоже, значит, взбрехивать начинают. Ну, сторожиха, бывало, услышит да трансформатор, что для электродойки, как включит! А он ревет, будто много бомб сразу падают... Ты под бомбежку не попадал? Не?.. Ну да, малой еще совсем был. Хотя и малым доставалось. Стало быть, повезло... А волки, значит, и утекают. Такая Буська... Случалось, с крыши слетала — по нечаянности, конечно. На волков прямо. И ничего, сберегалась, а как — кто ж ее знает.

— Вы бы покараулили волков, — предложил Карцев.

— Караулили, — махнул рукою мужик. — Пока караулишь — их нет, только уйдешь — тут как тут...

Въехали на берег, на улицу. Сдали рыбу в магазин, и Карцев купил пять килограммов. «Будет теперь с чем в Москву возвращаться, — весело говорил он, укладывая окуней в полиэтиленовый пакет. — А то обычно: пустым приедешь — жена спрашивает, где был; мелочи привезешь — говорит: “Возись сам”». Мужик еще и довез его до Зойкиного дома. Там началось: «ах», «ох», да «где ж это вы пропали», да «мы уж переволновались тут». Карцев снова определял мотыля, снова смотрел телевизор, ужинал.

Но в этот вечер прекраснодушие ни на минуту не покидало его. Он любил сейчас всех: не только детей своих, жену, хозяйку и ее дочь, любил спасителя-возницу и оклемавшуюся соседку, любил местных рыбаков... Он любил всех. Любил безоговорочно, безоглядно.

Укладываясь спать, увидел в трюмо свое отражение: глаза блестели, щеки пылали, губы расплывались в улыбке. «Вот что значит свежий воздух, вот что значит рыбалка!» — выключил свет, лег и в темноте: «Особенно если с волками и если идет третий день», — не удержался от соблазна осадить самого себя.

И тут же почувствовал, что кровь начинает отливать от щек, глаза становятся суше. «Интересно, как выгляжу я теперь», — с холодной иронией подумал он, но вставать и зажигать свет поленился.

ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК

Мой приятель Валерьян Зайцев участвовал в поимке особо опасного преступника. И самое увлекательное, что Валерьян никакой не ловец, он был вздымщиком, иначе говоря, сборщиком сосновой смолы.

О существовании этого занятия подавляющее большинство населения никогда и не ведало, между тем на вздымке в наших лесах трудились многие тысячи людей, и называлась эта отрасль лесохимией.

Вот в лесохимии-то и проработал Зайцев половину из сорока своих лет. В год совершения героического поступка он служил мастером — зимой его слегка подучили на курсах и назначили: человек многоопытный, дело знает, да и не мальчишка уже, пора в контору — поближе к семье. Честно отбарабанив сезон, Валерьян подал заявление: «Прошу освободить от мастера, а то я в ваших бумажках ни бум-бум».

Директор не стал визировать: «Так в документах не пишут». — «Во-во, — обрадовался Зайцев, — я и говорю как раз, что ни бум-бум», — и, в свой черед, отказался совершенствовать стилистику произведения. Началась тяжба.

К этому можно добавить, что обличием Валерьян лешаковат: мало брит, мало чесан, сутулый, ступни вовнутрь — что поделаешь, столько лет в лесу. Да и наследственность: дед, отец, мать — все работали вздымщиками.

И вот — в конце сентября дело было — поднимает его среди ночи участковый милиционер Гошкин. Валерьян думал сначала, что придется самогоноварение свидетельствовать: Гошкин в основном этой отраслью и занимался. Такую деятельность развил, таких хитростей наизобретал — каждую неделю в его тенета кто-нибудь да и попадался. Однажды он привлек Зайцева понятым — тому понравилось: для подтверждения злоумышленности напитка следовало опробовать брагу. «До-обрая брага!» — восхитился тогда Валерьян и тут же испросил «рецеп» у хозяйки. «Это к делу не относится», — заметил между прочим милиционер, однако от «не относящихся к делу» вопросов тоже не удержался — исключительная была брага.

Но на сей раз дело оказалось иным.

— В Харитонихе магазин грабанули, — прошептал Гошкин.

Валерьян задумался. Как всякий честный человек, он боялся милиции и потому теперь хотел изыскать свою вину. По размышлении выходило, что никакого касательства к происшествию он иметь не может, так как не бывал в Харитонихе аж с Радоницы, когда ездил проведывать родительские могилы.

— Ну и чего? — спросил Зайцев.

— Грабителя-то спугнули — он за реку убежал.

— Ну и чего? — повторил Зайцев с прежним недоумением.

— Их участковый Сахнов пасет его около подвесного моста. Надо Сахнова заменить — пусть обследованием магазина займется.

— А я-то чего?

— Поможешь мне, мало ли: двое — не один всё-таки... Так-то мы уже сообщили: утром из района опергруппа приедет... с собакой... А пока надо удержать его на той стороне — там ему деться некуда — болота... Других мостов поблизости нет, лодки, поди, все у этого берега, паром — тоже...

— Конечно, — согласился Зайцев, — лодки и паром здесь. Оно и в сенокос на той стороне никто не ночует, а теперь и подавно.

— Ну!.. Вплавь сейчас, пожалуй, не перебраться... Как думаешь?

— Да это и говорить нечего — околеешь.

— Вот...

— А чего хозяйке сказать?

— Ну... на волков, скажи... мол, волки телят порвали.

— Так это и ружье брать надобно?

— И возьми — лишние стволы не помешают, мало ли...

И, уже садясь в коляску мотоцикла, Зайцев вдруг возмутился:

— А почему я?

— Есть версия, что грабитель — из твоих вздымщиков. В случае чего — опознаешь.

— Не из моих, а из ваших: зэков наприсылаете, а я — отвечай...

В лесохимию частенько направляли освобождающихся из мест заключения. Работали вербованные плохо, пропивали инструмент, казенную одежду, воровали по деревням и друг у дружки, словом, пакостничали. На участке Зайцева их перебывало с весны не меньше десятка: трое сбежали сразу после получения аванса и числились в розыске, один не без помощи корешей угодил в больницу, следующий был задержан в соседней области при распродаже деталей угнанного трелевочника, наконец, еще один помер, употребив с похмелья ацетон. Остальные кое-как перекантовались, заработав на не очень дальнюю дорогу в общем вагоне пассажирского поезда. Последним неделю назад рассчитался Зорин — высокий худощавый мужик с черной бородкой, Валерьян сразу на него и подумал.

Заехали в Харитониху — она километрах в пяти. У магазина, дверь которого была наискось заколочена доской, стояли двое парней и продавщица — караулили.

— Присылайте скорее смену, — завопили они. — Сил нет, как спать хочется.

— Сейчас, — успокоил их Гошкин. — Сейчас Сахнова на этом вот мотоцикле доставим, и пойдете домой. Привезёшь его, — оборотился он к Зайцеву, — а я там пока подежурю.

— Ладно, — сказал Валерьян, — привезу.

. Подъехали к берегу, посигналили. Тишина.

— Не сказывается, — удивился милиционер, — может, дрыхнет?

Побродили туда-сюда, не нашли.

— Чего это там у воды? — спросил Зайцев, заглянув вниз, — а берег там высоченный, горушка какая-то, потому-то здесь мост и подвесили. Вокруг-то всё низины, низины...

Спустились — и обнаружили Сахнова. Он был без сознания, но дышал.

И в это время наверху затарахтел мотоцикл.

— Стой! — крикнул Гошкин. — Стой!..

Когда они выкарабкались, мотоцикл был уже далеко — почти не слышен.

— Зорин, — утвердился во мнении Валерьян, — Мясник.

— Что — «мясник»? — не понял милиционер. — Профессия?

— Кличка.

— Сурово.

— Он какой-то борьбой занимался, название иностранное... В общем, рукой, как топором, машет.

— Каратэ, что ли?

— Не помню... Хорошо, что я ружье взял из люльки, а то бы уехало...

— Да-а... Теперь у него пистолет. Интересно, чего же он не стрелял?

— Видел, что мы вооружены, а по темнотище такой сразу двоих можешь и не укокошить, начнется пальба... Его ведь чуток зацепить — подранить — и всё: ему не смыться — кранты. Хитрый мужик, матерый...

Из Харитонихи Гошкин вызвал «скорую» для Сахнова, дал телефонограмму дежурному по району, тот — дальше, и через час прибыла розыскная группа, а к рассвету все местные милицейские силы поднялись по тревоге: были блокированы проселки, усиленные пикеты патрулировали железнодорожную станцию.

В полдень пришло сообщение, что на автотрассе задержан бородатый мотоциклист, правда, пистолета и формы Сахнова при нем не обнаружилось.

— Странно, — сказал Гошкин. — Выкинул, что ли? Стоило убивать человека... Не понимаю. Не вижу логики. Однако задержан своевременно — сработали хорошо.

Но не успела опергруппа выехать в указанную деревню, как пришел отбой: подозрительный мотоциклист оказался художником, писавшим портреты местных руководителей.

— Ну уж совсем, — Гошкин скривился и неодобрительно покачал головой, — художника от бандита не отличают. Явная недоработка.

Прошел еще час, другой, третий — никаких сведений о преступнике не поступало. К вечеру из областного центра прибыл вертолет с автоматчиками. Командовал ими майор, назначенный руководителем операции.

Расспросив всех, причастных к делу, и выслушав множество «в воду канул» и «сквозь землю провалился», он принял решение, понравившееся Зайцеву, который, как и майор, склонялся к мнению, что преступник от Харитонихи далеко не ушел. И скорее всего попытается отсидеться в лесу, а потом, когда опасность поубавится, уйдет куда-нибудь с деньгами, добытыми в магазине.

Наиболее удобными местами ночлега майор справедливо счел жилища вздымщиков, тем более что преступник знал их расположение. Зайцев указал на карте девять точек, из которых только одна находилась в заречных лесах. «Отсюда завтра утречком и начнем, — сказал майор. — Маловероятно, что он там — один раз уже смывался с той стороны, зачем ему опять туда возвращаться? Но для очистки совести, а точнее, для очистки тылов надо проверить».

Зайцева поблагодарили и, отстраняя от дальнейшего участия в опасном мероприятии, отвезли домой, где в довершение злоключений он был достойно встречен издергавшейся за день супругой.

...Наступил октябрь. Хозяйство, в котором работал Зайцев, сдавало остатки живицы. До плана не хватило двух тонн, и стали по сусекам скрести: там бочка осталась, там полбочки — все, что не успели из леса вывезти, срочно вывозили, взвешивали, маркировали. Оперативники, ходившие в заречье, нашли пару неполных бочек, и Зайцеву поручалось доставить их, а заодно и вагончик запереть.

— Всё, — сдался директор, — договорились: добиваем план — и сразу подписываю твое прошение, а пока — помоги, выручи, некому ведь работать: вербованные поувольнялись, сам знаешь...

— Некому, — согласился Зайцев, но попросил сопровождающего.

И хотя тылы после тщательнейшей проверки считались надежными, а основная часть понаехавшей в свое время милиции была уже возвращена к местам постоянной службы, майор предоставил одного человека, вооруженного коротеньким автоматом.

Валерьян взял в лесохимовском гараже тракторок с кузовом перед кабиной, посадил в кузов стрелка, и поехали. Переправлялись они на пароме — выше Харитонихи был канатный паромишко — бревенчатый плот, на котором сенокосной порой перевозили лошадей с косилками и граблями. Нехитрый транспорт: веревка, концы которой закреплены на противоположных берегах, пропущена на плоту через скобы: руками подтягиваешься за веревку, паром и плывет.

В день, когда совершилось убийство, плот находился на своем месте у ближнего берега — это было отмечено следователем, — здесь же он стоял и теперь.

Заречный участок невелик — сосновый бор тянется там по гривке между болотами. Быстренько добрались, милиционер помог Валерьяну закатить в кузов железные бочки, взобрался сам, а Зайцев, осмотрев вагончик изнутри и снаружи, навесил на него привезенный с собою замок. Тем же путем возвратились.

...Операцию сворачивали, и майор, понятное дело, значительно огорчался.

— А нельзя еще разок вызвать собаку? — поинтересовался Валерьян.

— Вы что — обнаружили следы или какие-то предметы? — вздыхал майор.

— Ничего такого я не обнаружил, — ответно вздыхал Валерьян, — но вот чегой-то... — и он, напряженно подбирая слова и не умея найти их, только морщился.

— Из-за «чегой-то» собачку нам не пришлют, — возражал майор, однако Зайцева от себя не прогонял — тот оставался единственным человеком, не потерявшим надежды, тогда как его односельчане открыто посмеивались над целой армией, не сумевшей за неделю ни личность преступника установить, ни мотоцикл с коляскою найти. Родственникам Сахнова майор и вовсе в глаза не смотрел. — Через три дня нас отсюда отправят, — сообщил он Зайцеву, — а что еще предпринять — не знаю: на станции он не появлялся, в райцентре — тоже, по селам и деревням не замечен, все пустующие избы осмотрены — всё профильтровали с собакой... А главное — мотоцикл! Куда мог подеваться мотоцикл?

— Вы это... — попросил Зайцев, — вы от подвесного моста караул не снимайте, пусть так и стоят, сколь можно.

— Ладно, — пожал плечами. — Не сниму.

...На сей раз Валерьян придумал для жены охоту на тетеревов с чучелами и ещё засветло уехал на велосипеде. Продежурив ночь у парома, вернулся домой. Рассказал что-то о тетеревах, но почувствовал, что сочинилось корявенько — заподозревала жена. Однако во весь день тайна его не раскрылась, и вечером он снова укатил «на охоту». Вот тут-то Зорин ему и попался.

Зайцев дремал, привалившись к паромному канату, и вдруг канат вздрогнул, закачался. Потом донеслось хлюпанье — на середине реки канат провисал, и Зорину пришлось окунуться. Наконец Зайцев увидел разбойника: тот, обхватив руками и ногами канат, перебирался к берегу.

Подождав немного, Валерьян шарахнул в небо сразу из двух стволов — Зорин от неожиданности свалился, течение подхватило его, а Зайцев, наскоро перезаряжая ружье, палил и палил, никуда не целясь.

...От подвесного моста прибежали засадные милиционеры и взяли Зорина на берегу. Одежда, деньги, пистолет — все это нашли в полиэтиленовом мешке, привязанном веревочкою к канату, — передвигаясь, Зорин тянул веревочку за собой.

Когда он — одетый, обутый, отогревшийся и в наручниках — лежал ничком на полу посреди клуба, временно превращенного в милицейскую казарму, у них с Зайцевым состоялся примечательный разговор, заставивший милиционеров отвлечься от чистки оружия.

— Как же это ты меня засек? Я ведь вроде нигде не наследил? Даже печь в вагончике не растапливал.

— По запаху, — отвечал Зайцев. — Дух там, как в той будке, где ты летом жил.

— Что же это за дух — зверем, что ли, от меня пахнет? — усмехнулся злодей.

— Нет, почему, человеческий дух, не звериный, просто — твой.

— И что ж, ты всякого человека по запаху различить можешь?

— Не знаю... нет, наверное. У тебя маленько непривычный дух — ты, поди, из дальних краев будешь...

— Это точно, — выдохнул Зорин в истертый танцульками, грязный дощатый пол.

Милиционеры подошли, нюхали-нюхали и ничего не унюхали своими прокуренными носами.

— Что ж это? Выходит, собака не учуяла, а ты учуял? — недоверчиво поинтересовался один из них.

— Когда собака ходила, его там не было.

— А где же он был?

— Где-нибудь ещё, — объяснил Валерьян.

— На той стороне, у парома, — открылся Зорин. — Сидел в кустах и смотрел, как вы меня ловить собираетесь... Но подпалил ты надёжно — я даже замок не успел сбить — всё сгорело.

— Ну дак, — вздохнул Валерьян, — надо же было как-то...

— Что сгорело? — спросил милиционер, сопровождавший Зайцева в поездке за бочками.

— Платить теперь за казенное имущество будешь, — усмехнулся Зорин.

— Буду, — кивнул Валерьян.

— Да что сгорело-то? — не унимался милиционер.

— Вагончик, — тихо сказал Валерьян, — я поджёг его изнутри...

— Зачем? — не понял милиционер. Тут уж Зорин не выдержал:

— Ззатем, чтобы я в руки твои дырявые нагишом и явился.

— Но-но, — одернули его. — Лежишь — и лежи себе.

— Лежу, — согласился Зорин.

— Ты в первую ночь-то возле угольев заночевал? — поинтересовался Зайцев.

— Да. Сначала тепло было, а потом...

— К утру подморозило. Сильно.

— А ты уже у парома сидел?

— Ага. Думаю, рассчитаться пожелаешь, дак опередить надобно. У подвесного моста милиция дежурила, и тебе для переправы оставался только паромный канат.

— Рассчитаться — святое дело. Не успел. Но ничего — ещё, как говорится, не вечер.

— Дак у тебя время будет ли? — возразил Зайцев.

Зорин не отвечал.

— Эх, парень, — вздохнул Валерьян, — ты молись, чтобы Сахнов живым остался.

...Вновь понаехали криминалисты, начался следственный эксперимент. Зорина водили по старым его следам, и он рассказывал, как заранее раздобытым ключом отомкнул дверь магазина, как вскрыл металлический ящик, в котором хранились деньги,

как набивал полиэтиленовый мешок из-под сахарного песку пакетами концентратного супа и еще какими-то продуктами, как напоролся на мужиков, нетвердо возвращавшихся в родную деревню, как те подняли шум, разбудили Сахнова...

— Я мог и на этой стороне в лесу спрятаться, — объяснял Зорин, — но здесь вы бы меня шавками затравили — свору собак в лес привели бы — мне и не спрятаться, и не отмахнуться. А через подвесной мост собаки не ходят и паром не любят, я это знаю, вот и ушёл на ту сторону.

Он быстро сообразил, что утром его возьмут «как нечего делать». Пошел к Сахнову «сдаваться». Жестоко избил неосторожного милиционера и взял пистолет. Услыхав мотоцикл, затаился. «Хотел стрелять их, даже к обрыву подходил, даже прицеливался, но очень темно было, думаю, не попаду, гвалт подымется».

Угнал мотоцикл, однако на станцию не поехал: «Горючего — на дне, а до станции как-никак шестьдесят километров. И дорога у вас — не автобан. Я ж понимал, что на станции меня в первую очередь ждать будут».

Доехал с выключенными огнями до парома, закатил мотоцикл, вывез на середину реки и столкнул в воду. Возвратил паром, разделся, сложил вещи в мешок и переправился по канату. Полдня просидел на берегу, откуда подвесной мост хорошо просматривался. Когда группа, ходившая с собакой через мост на ту сторону, воротилась ни с чем, пошел в вагончик. Ночевал без огня: там было кое-какое тряпьё, матрац — заворачивался и спал. День проводил далеко в лесу, готовил на костре. Знал, что блокаду вот-вот снимут, милиция уйдет.

«И надо же — какой-то мастеришко все испортил: сжёг мою халупу, выдавил меня к ментам. Лесной человек, профессионал. Если бы не он, то... Дайте ему хотя бы маленькую медальку, подарите хоть часики — у него нет часов, отправьте на курорт — он моря не видел. Лесной человек...»

Тут все стали колотить Зайцева по плечу, пожимать ему руку, предполагать часы, курорт и медальку, но он опять всё испортил: вздохнул вдруг и сказал: «Да. Меня-то вы бы ни за что не поймали», — с тем повернулся и ушел.

— Всякий профессионал имеет право на свой кураж, — обреченно заключил Зорин.

...Зайцева отпустили из мастеров, и он, как и прежде, благополучно живет и работает в лесу. Теперь уже и старший сын, вернувшийся из армии, помогает ему. Бывало, начнешь расспрашивать Валерьяна про те яркокрасочные события, а у него ни зла, ни страха, ни самодовольства — одна жалость: «Дурак-дурак! За этими деньгами только погонись — враз душа и погибнет. Начал, вишь, с церквей да музеев — иконки грабил да иностранщине всякой продавал — у них там на иконки мода, что ли?.. А кончил дак вона чем... Дурак». И всякий раз задумчиво приговаривал: «А меня-то они не поймали бы».

Что поделаешь — лесной человек.

ОТПУСК

Отцу Игнатию отпуск выпал сразу после Крещенья. Летом в монастыре отпусков не давали — летом вся округа заполонена дачниками, да еще каждый день туристы на огромных автобусах, так что народу в храме битком, на исповедь — очереди. Кроме того, летом стройка, ремонт: тут красить, там копать — дня не хватает. Потому отпуска — только зимой.

— Езжай куда хочешь, — благословил настоятель, — деньги у казначея возьмешь.

Отец Игнатий поблагодарил, но сказал, что ехать ему некуда.

— А раньше ты куда ездил?

— Домой, к сестре.

— Ну!

— Она ведь померла. Помните, мы молились о упокоении рабы Божией Евфросинии?..

Настоятель вспомнил:

— Было такое.

— Племянники дом продали, так что ехать теперь мне некуда.

Прошло еще несколько дней: отец Игнатий по-прежнему ходил на братский молебен, пел на клиросе и про отпуск не думал. А настоятель думал: он был заботлив, но молод и не понимал, как можно отказываться от возможности сменить обстановку, отвлечься, отдохнуть. Он объехал все святые места земли, теперь осваивал несвятые и желал, чтобы иеромонах Игнатий — старейший насельник монастыря — хотя бы выспался. И по молитвам отца настоятеля дело сдвинулось.

Помог слесарь Володька. Вообще-то он был кандидатом наук и занимался прежде ракетами «воздух-воздух», из-за чего, собственно, в процессе разорения страны и пострадал. Помучившись без работы, уехал в деревню и подвизался теперь на ниве монастырского водоснабжения.

Володька был родом из Псковской области и каждую зиму ездил туда за рыбешкой, чтобы подкормить братию перед Великим постом.

— Поедешь рыбачить, — сказал отцу Игнатию настоятель.

— Как благословите, но обязан признаться, что не умею, — возразил старый монах.

— Почему не умеешь? Ты же в молодости был этим...

— Кем?

— Ну... моряком.

— Матросом. Старшим матросом на эскадренном миноносце. Палубу драил, а рыбачить не довелось. Так что не умею нисколько.

— Вот и плохо, вот и не прав: апостолы умели, а ты отказываешься... Ну да ладно: Володька научит, — и указал на водопроводчика.

— Так то ж апостолы... У меня и облачения должного нет.

— Кладовщик выдаст. А у келаря возьмете сухой паек на неделю — к Сретенью возвращайтесь.

Кладовщик принес валенки, тулуп, ватные штаны, шапку-ушанку и теплые рукавицы:

— В таком виде, батюшка, вы будете натуральнейший Дед Мороз.

Потом сходил еще раз, чтобы добавить серебристый ящик.

— А это что? — поинтересовался отец Игнатий.

— Вам, сидеть, — отвечал кладовщик. — Меня за этим специально в рыбацкий магазин посылали.

Под утро отслужили с братией молебен о путешествующих, келарь загрузил в машину продукты, и отпуск начался.

Машина у Володьки была большая — иностранный пикап. Летом он снимал с кузова крышу и возил, как в грузовичке, мешки с цементом, кирпичи, водопроводные трубы, а сейчас кузов был тщательно вымыт, застелен линолеумом и закрыт.

— Куда едем-то? — спросил батюшка, когда выехали на трассу.

— Город Себеж — слыхали когда-нибудь?

— О! — удивился отец Игнатий. — Конечно, слышал: отец мой во время войны ногу там потерял. Как начнет протез прицеплять, сердится: «Съезди в Себеж, поищи ногу!» Протез неудобный был, надоел ему... А я так и не сподобился...

— Ну, может, теперь найдем, — улыбнулся Володька.

— Да она уже лет тридцать отцу без надобности... нет, тридцать пять...

— У нас там, где ни копнешь — всюду косточки. Рельеф сложный: озера, реки, ручьи, холмы, овраги, перелески, — там сотню танков в бой не бросишь, да и бомбить — не разберешься, кого. Так что больше — лоб в лоб...

Перед Себежем свернули на грейдер. Миновали несколько полуживых деревень и наконец добрались до последней, где дорога заканчивалась. Володька предварительно связывался с кем-то из земляков по телефону, и потому возле избы было расчищено место для автомашины, а сама изба слегка протоплена. Затопили еще разок — и русскую печь, и голландку, принесли воды и стали обустраиваться.

На стене в рамочке под стеклом висела свадебная фотография Володькиных родителей, которые теперь состарились, жили у сына и, случалось, захаживали в монастырь на богослужения.

Протопив печи, рыбаки помолились и улеглись спать. Постели были холодноваты, однако вовсе не это обстоятельство помешало отцу Игнатию выполнить благословение настоятеля и отоспаться: большая серая крыса, поселившаяся в пустовавшей избе и считавшая себя единоличной хозяйкой, совершенно не ожидала гостей и всю ночь встревоженно металась по комнатам. Володька зажигал свет — крыса исчезала, гасил — и она снова начинала топать, чем-то шуршать, что-то грызть...

Затихла крыса, когда рассвело. «Всякое дыхание да хвалит Господа», — оценил батюшка прошедшую ночь.

Отправились на озеро. Просверлив лунки, Володька дал отцу Игнатию удочку, дождался первого пойманного окунька и ушел: надо было объехать знакомых мужиков на предмет рыбных закупок.

Было пасмурно, тихо и совсем не холодно — это делало рыбалку приятной и легкой. До полудня окуньки и плотвички клевали весело, потом клев прекратился, и отец Игнатий задремал, стараясь сидеть прямо, чтобы не упасть с ящика, купленного специально. Иногда открывал глаза, проверял удочку и вновь погружался в сон. Уже темнело, когда на лед вышел мужичок — наверное, тот самый Никола, который и протопил избу, других мужчин в деревне не оставалось. Он направился вдоль камышей, чтобы, как объяснял Володька отцу Игнатию, установить жерлицы на щуку.

Следующая ночь оказалась еще тревожнее: крыса носилась не только по полу, она запрыгивала на кровати, явно пытаясь выгнать людей из дома.

Зажгли свет.

— А вы говорите: «всякое дыхание», — горестно произнес Володька.

— Не ропщи, — сказал батюшка.

— А я и не ропщу.

— Еще как возроптал...

— Ну так она же спать не дает! Поеду завтра по деревням искать крысоловку.

— Не надо крысоловку, лучше кошечку. На пару дней. У нас отец настоятель, когда ему ремонтировали покои, жил в старой баньке. Как только появлялись мыши или крысы, он брал на денек-другой кошечку из коровника. И те уходили.

— У Николы есть кот, но его в руки не возьмешь и в чужой дом не затащишь. Прозвание у него Изверг. А потом — он все время в командировках: я сегодня видел его где-то далеко-далеко отсюда.

— Нет, нужно что-то более снисходительное, чтобы, значит, снизошла до наших надобностей и претерпела перемещение.

— То-то и оно, что снисходительное. Вот у родителей жила здесь молоденькая кошчонка, но, когда я их забирал, кошку выпросил двоюродный брат, так что она теперь в соседней деревне.

— Эта может и снизойти, — задумчиво произнес отец Игнатий.

— А что? Может, — согласился Володька.

Они приехали в соседнюю деревню затемно. Двоюродный брат встречал их еще в трусах.

— Нам бы кошечку, — попросил Володька.

— Взаймы, — добавил отец Игнатий, — на пару деньков.

— Это можно, — сказал брат, зевая. — Зовут ее Мурка, но, прошу обратить внимание, возвращать придется с процентами.

И принес пузатую кошку деревенской породы, которая определенно была на сносях:

— Берете?

— Берем? — переспросил Володька у батюшки.

— Берем, — благословил отец Игнатий.

Привезли кошку в родную избу, осторожно спустили на пол. Постояла она на раскоряченных лапках, постояла да и пошла прямиком к продавленному дивану. Глянула за диван и мяучит. Володька отодвинул мебельную реликвию, а там — дыра в полу. Подмели за диваном, постелили чистый половичок, и Мура вытянулась во всю длину, чтобы, значит, не мешать брюшку.

Рыбачили вдвоем и наловили много, даже Володька — и тот удивлялся:

— Ничего себе! Отродясь столько не лавливал! Надо, батюшка, всякий раз приглашать вас с собой.

Вечером отец Игнатий, читая правило, уснул — хорошо еще, что на коленях, падать было невысоко. Однако в эту ночь рыбаки выспались: ни единого шороха никто не слышал.

Проснулись поздно: окна солнечные и в ледяных узорах — подморозило, стало быть. Когда вышли из дома, батюшка показал Володьке крысиный след, который уходил в сторону брошенного скотного двора. Володька поехал скупать у мужиков рыбу, а отец Игнатий продолжил промысел самостоятельно.

Назавтра тронулись в обратный путь. Сначала завезли снисходительную кошчонку, которая и крысу выгнала, и «проценты» при себе сохранила. Одарили ее пакетом свежемороженой рыбы. У какой-то деревни остановил мужичок — добавил в кузов большую щуку, пару огромнейших окуней и полмешка мелочевки.

Володька был, кажется, вполне доволен: и товар приобрел, и земляков хоть немного утешил, а то ведь по деревням теперь никаких заработков нет, люди в мертвецкой нищете прозябают.

Отец Игнатий тоже находился в благом расположении: ему было приятно, что съездил не зря и пусть ничтожную, но пользу принес — глядишь, из его окуньков братии сварят ушицу.

А еще приятнее было оттого, что гулянка закончилась: за эти дни он истосковался по монастырю, по своей келье и укорял себя за то, что в разговоре с отцом настоятелем не проявил убедительности: «В следующий раз на колени пред ним упаду, только бы не отправлял в отпуск: отпуска эти — суета несусветная. И более ничего».

РЮШЕЧКИ

Мы никогда друг друга не видели. Она присылала мне письма: корявым почерком, на тетрадных страницах в клетку. Сбивчиво и суетливо пыталась пересказать историю своих духовных шатаний, падений и, смею надеяться, некоторых прозрений. Там было много всего — мне оставалось только расположить события правильной чередой.

Помнила себя Евдокия с первых послевоенных лет. Просыпаясь, видела перед собой в красном углу бабушкины иконки — бабушка, стоя на коленях, молилась. Солнечный свет заливал комнату, вкусно пахло желудевыми лепешками. Теперь, в старости, она понимала, что была в те времена так близка к Богу, как никогда впоследствии.

«Я любила тогда всех людей, особенно, конечно, родных. Любила до замирания сердца. Все любила: речку, небо, родительский дом. День начинался с бабушкиной молитвы и бабушкиной молитвой заканчивался».

А дальше женщина вспоминает, когда же это все стало уходить. Она помнит момент, как увидела на своей подружке новое платьице с рюшечками. И этим рюшечкам позавидовала. А рюшечки, если кто не знает, это сборчатые полоски материи, которые пришиваются к плечикам, рукавчикам, — чепуха, в общем. Потом девочка позавидовала новым коричневым туфелькам другой подруги. А через зависть в нее вошли и прочие погибельные для души страсти.

Она выросла, вышла замуж. Родила трех дочерей. Работала в сельсовете. И вся остальная ее жизнь была посвящена тому, чтобы жить не хуже других. А по возможности — и лучше.

Приобретались мебельные гарнитуры, ковры, холодильники, телевизоры, магнитофоны... Когда они устаревали, их заменяли новыми. И ради этих приобретений, вспоминала Дуся, она и взятки давала, и документы подделывала, приходилось лукавить, лгать, льстить, лицемерить...

А денег недоставало. Стали выращивать скот на продажу, разводили кур, уток, индеек. В этих трудах муж ее стал инвалидом. Но все у них было — не хуже. «Дом — полная чаша». Его достраивали, расширяли. Так дожила до семидесяти лет. И вдруг дом за одну ночь сгорел. Дотла.

Все село помогало его тушить. Никакого имущества спасти не удалось. Успели только выпустить из сараев всю живность. Сами на улицу выбежали — она в халате босиком, а он в тренировочных штаниках.

И вот утром супруги сидят на скамеечке напротив пожарища. Рядом с ними кот. Корова пришла и коза. А остальные — разлетелись и разбежались. И тут ветерок донес слабый запах желудевых лепешек: за огородами была дубовая роща, и, вероятно, желуди попали в огонь. Это был запах из детства...

А мимо шел батюшка в храм — готовиться к службе. Он тоже всю ночь помогал тушить пожар. Евдокия за ним увязалась, пришла босиком в церковь.

Батюшка занимался своими делами, а потом спрашивает: «Тебе чего?» Она подумала-подумала и сказала: «Поблагодарить Бога».

Дуся боялась, что священник решит, будто она с ума сошла. А он спокойно и понимающе кивнул: «Отслужим благодарственный молебен».

Вышла она после молебна на улицу. И стало ей легко-легко.

Взрослые спешили на работу, дети — в школу. «Как же я люблю этих людей!» — осенило вдруг Евдокию. Между тем еще вчера она едва ли не со всеми была в раздорах.

Соседи пригласили попить чайку. Сидят они с мужем за столом, и вдруг заходит землячка, которая давно переселилась в город. А в селе у нее был родительский дом. И он пустовал, потому что родители умерли. Кто-то сообщил ей о пожаре по телефону, и она сразу примчалась на большом красивом автомобиле.

Говорит: «Идите, живите в этом доме! Вот ключи. А чтобы не было недоразумений, давайте я вам его сейчас продам за символическую цену! Мне он, честно, совсем без надобности».

Супруги возразили: «У нас денег нисколько нет, даже символических».

Но все же пошли в администрацию. А там уже приготовлена материальная помощь: «Получите и распишитесь!»

Открыли хату, и оказалось, что она очень похожа на ту, в которой Дуся провела детство. Даже иконы — словно бабушкины. И женщине стало радостно.

Тут начали приходить соседи, приносить еду, одежду. Возвращать кур, уток, индюшек. Но Евдокия сказала: «Куда улетели, там пусть и живут». Оставили козу — для молочного пропитания, а корову в тот же день и продали. Так и обустроились.

Внучки у Евдокии — взрослые девушки. Живут в городах, учатся.

И вот она пишет: «Увижу по телевизору шубку какую-нибудь, думаю: “Надо, чтобы и у моей внучки такая была!” И тут же словно током: “Опять рюшечки!” Этим пожаром мне указание было дано, чтобы я поняла свою жизнь. Он для меня — специальный. Шифер ведь от пламени взрывался и разлетался, соседские дворы были усыпаны этим шифером, но ни у кого ничего не загорелось. Так что это мне — указание, мне — знак. Как же я благодарна Богу, что никто больше не пострадал! Из-за меня и моих рюшечек».

МЕДАЛЬ

По окончании стажировки иеромонах Евгений был направлен в глухое село, да еще и жилье перепало за три километра в полупустой деревне. Изба оказалась старинной, большой и поначалу отцу Евгению необыкновенно понравилась: он любил все старинное и традиционное. Правда, начало это выпало на теплую осень, зато зимой, когда углы ветхого сруба покрылись изнутри густым инеем, молодой батюшка загрустил: сколько ни топи, изба вмиг выстужалась. Кровать пришлось переставить вплотную к печи, а спать — в шапке-ушанке, завязанной под бородой. Однако невзгоды он претерпевал стойко: ни одной службы не отменил и на требы ходил безотлагательно. Бывало, заметет за ночь дорогу, а он рано утром — еще и бульдозер не прошел — пробивается через сугробы к храму, торит трехкилометровую тропу. И в этаком геройском подвижничестве молодой иеромонах отслужил долгую зиму, что вызвало у немногочисленных прихожан благодарное чувство. И вот, когда уже началась весна и потеплело так, что изба наконец просохла, отец Евгений впервые в священнической жизни своей столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая показалась ему столь значительной, что он впал в отчаяние.

Его обвинили в сожительстве с некой Анимаисой.

— Это кто? — растерянно спросил он у старухи-соседки.

— Как — кто? Баба!

— Уже неплохо для нашего времени, — признал иеромонах, — да хоть кто она есть-то?

— А помнишь, в магазине балакала?

— Пьянехонькая такая?

— Она.

— Ужас! — Отец Евгений вспомнил безобразно пьяную тетку, которая донимала всю очередь матерной болтовней.

— Ужас не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила.

— Да откуда ж вы это взяли?

— А — говорят! — победно заключила соседка.

И поведала, что муж у Анимаисы сидел, но в четверг преждевременно воротился. А дома у нее был сварщик с газопровода. Муж зарезал сварщика, хотя и не до смерти: одного забрали в больницу, другого — обратно в тюрьму. Ну, Анимаиса к монаху и подалась.

Батюшка представил поножовщину лихих мужиков, лужу крови, врача со шприцем, милиционеров с наручниками и несчастную Анимаису, которая после всего выпитого и всего случившегося отправляется в ночь за три километра пешком, чтобы обольстить незнакомого человека.

— Бред какой-то, — заключил иеромонах.

— А — говорят! — обиделась старуха соседка.

Отца Евгения эта напраслина так придавила, что он словно постарел. И до середины лета жил придавленным и постаревшим. На преподобного Сергия поехал в Лавру. Поисповедовался, а потом рассказал о своих скорбях. Старенький игумен спокойно сказал:

— Медаль.

— Что — медаль? — не понял отец Евгений.

— Считай, что заработал медаль, — пояснил игумен. — На орден эта клеветка не тянет, а на медаль — вполне. Так что иди и благодари Господа.

— Господи! Как здорово-то! — воскликнул отец Евгений.

Вернулся заметно помолодевшим. Отслужил благодарственный молебен и бросился совершать новые подвиги, навстречу грядущим медалям и орденам.

ТРИ РЫБЫ ОТ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Батюшка Михаил, немолодой сельский священник, отправился ловить рыбу. Река еще после паводка не вошла в свои берега, клева не было, но батюшкой руководило чувство долга, которое, впрочем, руководило им всегда. Однако в последние дни это чувство обострилось сугубо. Приближался праздник Троицы, особо почитаемый в здешних краях, а значит — с обязательными рыбными пирогами, но в деревне, где проживал священник, ни одного рыбака не осталось. А ему никак не хотелось оставить соседей без праздничного пирога. Вот и пришлось — взять удочку и спуститься к реке.

Надо отметить, что дело происходило двадцать второго мая, то есть на Николин день, когда батюшка уже отслужил литургию и вернулся домой. Подойдя к воде, он перво-наперво осенил себя крестным знамением, а потом обратился к святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу. Обратился не вслух, а мысленно. Мол, так и так, я, дескать, понимаю, что рыба сейчас не клюет и клевать не может. Но мне до крайности необходимы две рыбешки: для директора школы Петра Александровича и для Евстолии. Только две! Петр Александрович, хоть он в церковь не ходит, мужик неплохой, понимающий — это ведь он разрешил мне преподавать Закон Божий, а районные власти препятствовали, мешали... Опять же зимой: вечерами, бывает, выйдем на улицу, постоим, поговорим, и котишки наши рядом сидят — присутствуют. Мой Барсик с его Мурочкой очень дружен.

Ну вот. А в прошлый сенокос сын Петра Александровича — Александр Петрович — утонул: от жары перегрелся, нырнул в речку — сердце и обмерло. Река-то у нас все лето холодная. Молодой парень был — тридцать лет, тоже в школе работал: учителем физики. Трое ребятишек осталось.

Я его под отцовы именины как раз отпевал — под праздник Петра и Павла. Говорят, в прежние времена до Петрова дня не косили, но тогда, может, климат нормальный был? А теперь — не пойми чего. Петр Александрович с детства погодный журнал ведет — полвека уже, и получается, что нынешняя погода никакому пониманию не поддается.

И вот, думаю, сядут они всей семьею за праздничный стол, а рыбного пирога нет. Всегда рыбник был, и вдруг не стало. Петру Александровичу самому теперь не словить: болеет он сильно. В этом году даже к реке не спускался.

Излагая таким образом свой интерес, отец Михаил между тем забросил удочку и всматривался в поплавок. Поплавок не шевелился. Спохватившись, батюшка спешно добавил, что семья у директора школы немаленькая: супруга, дочка с мужем, сноха, трое внуков, — стало быть, и рыбник нужен большой, чтоб всем хватило. И, надеясь на понимание, попросил у святителя Николая помолиться пред Господом за недостойного иеромонаха Михаила.

Тут поплавок резко ушел под воду, батюшка подсек и вытянул на берег щуку: впервые в жизни ему довелось поймать на червяка, да еще и у самого берега, такую большую щуку. Леска не выдержала и оборвалась — хорошо, что рыбина была уже на земле. Он поблагодарил Господа, связал леску и снова забросил удочку. После чего стал рассказывать про соседку Евстолию.

Про то, что она недавно овдовела, что покойный муж ее — дед Сережа — во время войны был подводником. Последнее обстоятельство отец Михаил повторил и даже сделал небольшую паузу, намекая этими знаками, что рассчитывает на особое расположение святителя Николая к морякам. Сообщил, что на службу Евстолия ходит каждый воскресный день и всякий раз приносит березовое полешко для отопления. Такая вот лепта вдовицы. Раньше-то дед Сережа ставил на реке сеточку, а теперь Евстолия может без пирога остаться. В связи с ее одиночеством и малой комплекцией батюшка и рыбку просил некрупную. Только одну!

Попалась плотвица граммов до шестисот: из такой выходит сочнейший пирог классического размера.

Еще раз поблагодарив Господа, а затем и святителя Николая за его скорую отзывчивость на молитвы, батюшка смотал удочку и пошел домой.

Все, что происходило до сей минуты, едва ли удивит верующего человека: по молитвам, известно, и не такое случается, — самое интересное началось именно теперь. Отец Михаил вдруг остановился и в полном смятении произнес: «Господи, прости меня, грешного: про Анну Васильевну позабыл!»

Его охватило чувство обжигающего стыда: просил две рыбы — две получил, и после этого начинать молиться еще об одной? Ну конечно же срам! «Господи, аще можешь, прости!» — повторял он. В стенаниях вернулся к реке, но забрасывать удочку не спешил, посчитав это безумной дерзостью. Сначала следовало объясниться. И опять мысленно: мол, так и так, нужна третья рыба. Анна Васильевна, конечно, превеликая стерва! Тут отец Михаил испуганно обернулся: не слышал ли кто его бранной и осудительной мысли? Но рядом никого не было. Занима-

тельно, что святителя Николая, которому, собственно, и направлялось умственное послание, батюшка при этом нисколечко не забоялся. И затем рассказал, как старуха распускает про него всякие слухи, как не дает пользоваться своим колодцем — ближайшим к дому священника, и потому приходится ходить с ведрами чуть не за тридевять земель. Но это все — ерунда, признавал батюшка: слухи и сплетни — для нас вроде наград, путешествия с ведрами — гимнастика. Главное — у Анны Васильевны отец священником был, да в лихие годы умучен. Батюшку Михаила смущала будущая встреча с ним. Действительно, встретятся *там*, а протоиерей Василий и спросит: что ж ты — не мог моей дочери рыбешку для пирога изловить? Так что, — продолжал рассуждения отец Михаил, — хоть она и пакостница, но рыбешку надо поймать: может, это последний пирог в ее жизни. А что вредная, дескать, — не ее вина: сколько она с малых лет за отца-священника претерпела! И попросил ну хоть самую малюсенькую рыбешку. Клюнул какой-то подлещичек — на небольшой пирожок. Отец Михаил сказал: «Всё, всё, виноват, ухожу», — и без остановки в деревню.

Весть об успешной рыбалке облетела округу, народ побежал к реке. Ловили день, ловили другой — все впустую. Решили, что священник поймал случайно, по недоразумению, и успокоились.

Генеральный директор
Олег Болдырев

Художественный редактор
Татьяна Погудина

Заведующая распространением
Ирина Бродянская

Отпечатано в АО «Красная Звезда»
Россия, 123007, Москва,
Хорошёвское шоссе, 38
тел. +7(499) 762-63-02,
факс +7(495) 941-40-66
e-mail: kz@redstar.ru,
www.redstarprint.ru

Тираж 2 000 экз.
Уч.-изд. л. 10,0.
Заказ № 6590-2017

Адрес редакции:
Россия, 107078, Москва, Новая Басманная, д. 19

Телефоны
редакции: *8(499) 261-84-61*
отдела распространения: *8(499) 261-95-87*
Факс: *8(499) 261-49-29*
E-mail: *roman-gazeta-1927@yandex.ru*
Сайт: *www.roman-gazeta-1927.ru*

СОДЕРЖАНИЕ

Возвращаясь к прочитанному

Юбилейный год нашего журнала ознаменован многочисленными встречами как на книжных выставках и ярмарках, так и в библиотеках разных регионов России и стран Ближнего зарубежья (Беларусь, Латвия, Казахстан, Молдова, ЛНР и ДНР…).

С радостью отмечаем, что «РГ» по-прежнему востребована читателем. Однако, к общему огорчению, многие произведения, опубликованные на наших страницах, практически недоступны для желающих их перечитать: книжных изданий либо не было, либо тиражи мизерны и разошлись.

Редакция приступила к выборочному сканированию лучших произведений последних десятилетий.

Со временем планируем осуществить полномасштабную оцифровку всех номеров «Роман-газеты» за 90 лет. Сейчас же мы рассчитываем на Вашу подсказку: с чего начать? Какие произведения и каких авторов интересуют Вас и Ваших близких, имеющих доступ в Интернет? Особенно ждем квалифицированных запросов от библиотекарей: чего недостает на Ваших полках из произведений отечественной прозы?

Мы будем пополнять сайт журнала в согласии с Вами. Ждем откликов.

Редакция